



**Институт  
социологии  
РАН**



**Библиотека  
Московской  
школы  
политических  
исследований**

Библиотека Московской школы  
политических исследований

Редакционный совет:

А. Н. Мурашев  
В. А. Найшуль  
Е. М. Немировская  
А. М. Салмин  
Ю. П. Сенокосов  
А. Ю. Согмонов  
М. Ю. Урнов

# Ускользящий мир

## Беседы о России

*Московская  
Школа  
Политических  
Исследований*

2004

Авторы и исполнители проекта  
А.И. Волков, М.Г. Пугачева, С.Ф. Ярмолюк

Дизайн серии А. Бондаренко

*Издание осуществлено при поддержке  
Совместной программы Совета Европы и Европейской Комиссии.*

Часть тиража передается в государственные, муниципальные и публичные библиотеки, а также в университеты Российской Федерации.

Книга подготовлена при поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)  
Проект № 03-03-00167а

Название книги подчеркивает особенность современного мира и общества — их изменчивость, сложность их познания. Но совершенно очевидно, что познание необходимо, ибо стремительные перемены в нашей жизни несут с собой отнюдь не только новые блага, но и новые вызовы и угрозы, побуждающие науку, общественную мысль искать возможности воздействия на социальное развитие. Однако и такое воздействие — проблема чрезвычайно сложная, дискуссионная, поскольку оно само по себе может диктоваться той самой "пагубной самонадеянностью", которая уже принесла людям немалые беды. О новых реальностях России и мира, о потенциале креативности современной российской общественной мысли размышляют в своих интервью авторы книги — специалисты в различных областях знаний, представляющие новые поколения исследователей (от 25 до 50 лет). Все они в той или иной мере уже заявили о себе в сфере науки, политики, бизнеса, общественной, культурной, духовной деятельности. И несомненно, что к их оценкам, суждениям, предложениям с интересом отнесутся и профессионалы-обществоведы, и политические деятели, и широкие круги читателей.

© Институт социологии РАН, 2004  
© Московская школа политических исследований, 2004  
© А. Волков, М. Пугачева, С. Ярмолюк, 2004

## Оглавление

Ю.П. Сенокосов	
Вместо предисловия .....	
Вводная статья .....	
А.И. Волков	
Ускользящий мир .....	

### Часть первая

А.Ф. Филиппов	
"Другой мир - другая социология" .....	
В.А. Рыжков	
"Люди не живут без идеалов" .....	
С.Г. Недорослев	
"Высвобождение инновационной энергии - ключевой момент" .....	
С.Л. Кравец	
"Очень легко думать о мире и трудно думать о себе" .....	
В.А. Шмелев	
"Первое свободное поколение: социальные фантазеры" .....	
М.Ф. Черныш	
"Прогнозировать будущее невозможно" .....	
А.Ю. Согомонов	
"Мы - слепок глобального мира" .....	

### Часть вторая

Е.Е. Гавриленков	
"Учиться, учиться и быть наиболее мобильным" .....	

С.А. Васильев	"В поиске новой экономической теории государства" ....
Т.М. Малева	"Вся история человечества - поиск социального баланса" .....
С.В. Захаров	"Одно поколение может прожить много жизней" .....
Н.В. Мкртчян	"Нужны стране мигранты или нет?" .....
М.И. Алхазуров	"Мы не состоялись как нация" .....
О.И. Маховская	"Живем в эпоху хаоса мыслей" .....

### Часть третья

А.В. Леденева	"Понять происходящее как оно есть" .....
М.В. Ремизов	"Мы должны соучаствовать в процессе изменений" .....
А.Г. Гордон	"Естествознание versus обществознание" .....
А.В. Кураев	"Задача-минимум - поставить вкус к религиозной мысли" .....
А.Ю. Ашкеров	Материал в работе .....
К.В. Ремчуков	Материал в работе .....
	Об авторах .....

## Вместо предисловия

*Культур много, а цивилизация – одна.*  
**Мераб Мамардашвили**

“Каждая культура представляет собой остров — да, она имеет сообщение с другими островами, но, в конечном счете, и трагедию, и юмор мы сполна переживаем только в своей родной среде”\*. Эти слова Артура Кёстлера выражают широко распространенное в наши дни убеждение о самобытности культур, их самоценности. Когда национальная культура предстает как некая уже реализованная потенция устоявшихся человеческих способностей и умений, которые воспроизводятся в виде обычаев, привычек, предпочтений, эстетических вкусов, норм поведения и т. д.

Однако не менее очевидно, что в состав *современной* культуры входят при этом и такие изобретенные когда-то человеком области деятельности, как наука, философия, искусство, в которых люди продолжают экспериментировать с *новыми* возможностями собственной реализации. Именно на это обстоятельство я хотел бы обратить внимание читателя, представляя эту книгу, авторы которой — специалисты различных областей знания — уже заявили о себе в сфере науки, политики, бизнеса, общественной деятельности. В своих интервью они размышляют о новых реальностях России и мира, о потенциале креативности российской культуры.

В чем заключается этот потенциал? В уверенности авторов, что меняться в своих же собственных рамках культура может в той мере, в какой она способна осваивать и сохранять продукты реализации свободных “безразмерных” усилий человека. Иными словами, когда она открыта к присутствующему в ней “фону” деятельного бытия, не являющемуся культурой в строгом смысле слова. Иначе

\* Кёстлер А. Автобиография // *Иностранная литература*. М., 2002. № 8. С. 203.

было бы невозможно объяснить появление других культур и ответить на вопрос: почему культур много, а не одна?

Следовательно, можно сказать так: именно потому, что кроме видимой культуры есть области экспериментирования с возможным образом человека (в религии, искусстве, науке, философии), существует разнообразие культур. Факт их множественности или мультикультурности. Когда культурообразующую функцию, например, науки можно понять, лишь понимая скрытые условия производства самого научного знания. В противном случае мы попадаем в неразрешимое противоречие с нашей интуицией, которая подсказывает, что такое понимание явно не зависит от случайности того, что мысль думается в одной какой-либо культуре. Как говорил по этому поводу Людвиг Витгенштейн, мысль — это символический процесс, и совершенно неважно, где он происходит, а мышление — лишь интерпретация схемы\*.

Таков парадокс единства культурного многообразия, с которым мы сегодня сталкиваемся и который наблюдаем — фактически впервые — в эпоху Нового времени. Когда европейские народы выходили за рамки своей предшествующей культуры, и их стремление к свободе выразилось в универсальных принципах экономического либерализма, политической демократии и индивидуализма в личной жизни. И когда в демократии стали видеть не определенное государственное устройство, а процесс *общественного развития*, так как считалось, что ликвидация внешнего принуждения, внешней зависимости является необходимым условием для достижения свободы каждого человека. А с другой стороны, речь шла тогда (в рамках религиозной традиции) о “выработке” адекватных такой свободе чувств, более возвышенных и совершенных, чем наши обычные, природные чувства, что находило свое символическое выражение в искусстве. То есть сама возможность становления личности ставилась при этом в зависимость от того, насколько человек сам мог преодолеть в себе природу, что предполагало, выражаясь языком Евангелия, его “второе рождение”.

\* См.: Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель/ Пер. с англ. М., 1993. С.294.

Этот проект создания новой демократической культуры реализуется и в наши дни, расширяя границы новых возможностей человека в условиях глобализирующегося мира, в котором активно развивается процесс либерализации коммуникаций на основе Интернета и других технических средств связи.

В России сегодня, утверждают авторы книги, также существуют все предпосылки для вхождения в этот мир. Однако, чтобы эти предпосылки реализовались, должна измениться власть, отказавшись прежде всего от идеологии государственного патернализма, а народ согласиться на этот отказ и принять глобальную трансформацию общества, включиться в нее. Возможно ли это? Принимая во внимание, что на практике это означает изменение вековых устоев российского государства и затрагивает непосредственно интересы его многомиллионной бюрократии. Насколько это осуществимо политически — при отсутствии необходимой культуры? Экономически — при “тощем” государственном бюджете? Психологически — в условиях существующего социального раскола? Идеино, когда отсутствует ясный реформаторский курс? На все эти вопросы пока в стране нет внятного ответа. Но есть другое.

Несмотря на социальный раскол и существующие противоречия, коррупцию, сохраняющуюся ментальность народа, в современной России, считают авторы, есть главное: свобода, складывающаяся многопартийность, развивающийся рынок, плюрализм мнений, то есть принципиальные завоевания последних десятилетий. И если мы как наблюдатели и участники данного процесса знаем об этом, значит, уже что-то понимаем, когда занимаемся политическим просвещением, экономическим и гражданским образованием, формированием общественного мнения, исследованиями, воспитанием подрастающих поколений.

“Культур много, а цивилизация — одна”\*, — мудро заметил Мераб Мамардашвили. Свобода порождает только свободу. И именно поэтому общение, взаимный обмен информацией и контакты между людьми возможны. Все это

\* Мамардашвили М. Как я понимаю философию/Сост. и общая редакция Ю.П.Сенокосова. М., 1992. С.334.

и есть цивилизация, которая “старше нашего государства” (А.Тойнби). Только общаясь, мы начинаем жить в цивилизованном мире. Или, другими словами, в обществе, которое не имеет формальных границ

Умение практиковать сложность жизни — основное условие развития демократической культуры, когда конкуренция и солидарность не исключают, а взаимно дополняют друг друга, открывая перспективы для более широкого сотрудничества, диалога, проводимых реформ, трансформации и интеграции России в западное сообщество.

*Ю.П.Сенокосов,*  
директор издательских программ  
Московской школы политических исследований

## Введение

**Русская общественная мысль всегда была креативна.** Она пророчествовала, и пророчества сбывались. Эти слова из труда известного историка\* привлекли наше внимание потому, что и мы размышляли над проблемой воздействия общественной мысли, в том числе научной мысли, на современное социальное развитие. На процесс столь сложный сегодня, полный конфликтов, что проблема его коррекции стала по-новому актуальной.

Вопрос о возможности такой коррекции имеет, как известно, свою историю. Конец XIX — начало XX века отмечены, в частности, дискуссией, с одной стороны, сторонников социального дарвинизма, утверждавших, что закон естественного отбора универсален и действует в человеческом обществе так же, как в животном мире, с другой стороны, тех, кто верил в способность *homo sapiens* как субъекта исторического процесса цивилизованно корректировать социальные отношения и социальное развитие согласно неким целям и ценностям. XX век дал множество аргументов сторонникам социального дарвинизма. Более того, с появлением ядерного оружия стало очевидным, что борьба за место под солнцем, когда она развертывается уже не между индивидами, а между народами, может привести к гибели человека как биологического вида, а возможно, и всего живого на Земле.

И все-таки этого не произошло, даже тогда, когда “противостояние двух общественных систем” доходило до кульминации, как это случилось во время Карибского кризиса. *Homo sapiens* раз за разом доказывал, что он все же именно

---

\* См.: Пивоваров Ю. Два века русской мысли // Красные холмы. Альманах. М., 1990. С. 169.

сапиенс, то есть разумный, и способен находить способы урегулирования вроде бы неразрешимых конфликтов.

С крушением Советского Союза и исчезновением противостояния двух миров опасность гибели человечества, казалось, отступила надолго или даже навсегда. Но это только казалось, и то не очень сведущим людям. Новые опасности обступали человека и человечество все более очевидно и агрессивно со всех сторон. Они хорошо известны. Природные катаклизмы, во многом связанные с воздействием человека на окружающую среду. Применение новейших технологий, несущее с собой не только новые блага, но и новые угрозы. Нарастание разрыва между бедностью и богатством — не только внутри той или иной страны, но между странами и регионами. Острые конфликты цивилизационного масштаба, связанные с глобализацией, и терроризм, обретающий опору и социальную базу в тех самых конфликтах... В таких вот условиях разворачиваются и без того сложные трансформационные процессы в России.

Отсюда — желание найти не только средства лечения “по симптомам”, как говорят медики, но и некую новую формулу (парадигму, модель) организации общественной жизни, ибо прежние формулы и модели все более обнаруживают свою исчерпанность. В том числе — и казавшаяся до последнего времени наиболее адекватной модель евроатлантической цивилизации. Но еще прежде того — раскрыть и понять намеки на это будущее устройство в реальных тенденциях мирового развития, поскольку очевидно, что ничто невозможно навязать обществу, если в нем нет для этого неких предпосылок и готовности к восприятию тех или иных сознательных корректирующих действий. Отсюда и наше желание в той или иной степени прозондировать направления поисков и потенциал креативности современной российской общественной мысли.

Ставилась, собственно, более широкая задача — продолжить изучение “общества, в котором живем”, предпринятое нашим научным коллективом и нашедшее отражение в книгах “Российская социология 60-х годов”\* и “Пресса в обще-

\* Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах. СПб., 1999.

стве (1959–2000)”\*. Их авторами были в основном “шестидесятники”. На сей раз нас интересовали **исследователи новых поколений, определяющих научный поиск уже нового века**, их интерпретации происходящего, новые объяснительные схемы, применение этих теоретических построений. И соответственно — не только общество, в котором живем, но и в котором будем жить.

Однако на этом пути мы сразу же, уже в ходе предварительных бесед с возможными экспертами, столкнулись с сопротивлением материала. Прежде всего — с неоднозначным восприятием самой мысли о возможности и необходимости сознательного воздействия на реальность, сложным и противоречивым отношением к понятиям “идея”, тем более “идеал”, “проект переустройства общества”, “модель развития” и т. п. Более того, когда мы спрашивали нечто об обществе, нам задавали встречный вопрос: “А что такое общество?” В лучшем случае: “Какое общество вы имеете в виду — открытое, закрытое?...” То же происходило с понятиями “человечество”, “цивилизация” и др. Отчетливо обнаружилось, что многие прежние, привычные для нашей социальной науки понятия либо просто устарели, к тому же стерлись от длительного и многозначного употребления, либо по отношению к их смыслу и содержанию разошлись мнения, и уже нет единства их понимания, а новые понятия и определения еще не вывелись, не устоялись, не стали общеупотребимыми. Люди одного поколения, даже сходные в мировоззрении, научной и социально-политической ориентации, порой коренным образом расходились в принципиальных вопросах. “Бороться за реализацию идеи, — говорили одни, — строить жизнь по идеалу, строить новое общество или вообще что-то строить — значит вернуться в казарму и понести новые напрасные жертвы...” “Жить бездуховно, без поиска смысла, без стремления к высоким целям — значит погрязнуть в тупом прагматизме и превратиться из общества в стадо”, — утверждали другие. Мы ожидали, разумеется, расхождений во взглядах, но, пожалуй, недо-

\* Пресса в обществе (1959 — 2000). Оценки журналистов и социологов. Документы. М., 2000.

оценили степени этих расхождений, а прежде всего того, насколько значительное место в общественном и в особенности научном менталитете занял постмодерн, постмодернистские концепции и стратегии, даже релятивизм, подогретый открытиями в естественных науках (новой вспышкой интереса к выводам квантовой механики, синергетики, других современных ветвей науки).

Бросается в глаза, что в среде исследователей общественных проблем, с одной стороны, укореняется веберовская “ценностная нейтральность”, стремление занять позицию объективных, а по сути пассивных наблюдателей, замкнутых в узкой сфере собственного интереса, что порой рассматривается как высшее достоинство ученого — возможно, в противовес марксистскому призыву не просто объяснять, а переделывать мир. Прежде социальная и философская мысль, замечает Дмитрий Затонский, нечто либо принимала, либо отвергала; чего в ней (за весьма редкими исключениями) по-настоящему никогда не было, так это безразличия. Откуда же оно взялось? С другой стороны, присутствует тенденция сведения научной деятельности к поверхностным оценкам в ходе заказных опросов общественного мнения, пристрастного обслуживания экономических или политических частных интересов, что порой идет в ущерб научной истине. Этим явлениям парадоксально сопутствует критика того, что на разных уровнях управления часто принимают некомпетентные, научно необоснованные решения, имеющие между тем судьбоносное значение для страны.

Но все же главное впечатление от наших первых бесед с экспертами состояло в том, что не только в науке, но и в российской общественной мысли утверждается мультикультурность. Утверждается и в том смысле, что уже широко признается.

Разумеется, полного единомыслия никогда не существовало. История российской общественной мысли, равно и перемен в массовом сознании, отраженных еще задолго до применения современных методов социологических

\* См.: Затонский Д. Постмодернизм: гипотезы возникновения // Иностранная литература. М., 1996. № 2.

исследований в трудах наших выдающихся историков, философов, литераторов, указывает как на устойчивые тенденции, так и на постоянную борьбу различных взглядов и течений. Более того, российское общество глубоко антиномично, и на это обстоятельство обращали внимание многие русские мыслители, в частности Николай Бердяев, который отмечал, что “антиномичность проходит через все русское бытие”\*. Однако современное состояние, при всей условности определений самого понятия “мультикультурность”, отличается от прошлого как некое новое качество. Оно образуется на основе небывало тесного сосуществования и взаимного влияния не просто разных взглядов, но именно различных культур, складывавшихся на основе многих национальных и конфессиональных традиций, а вместе с тем — идеологий, локальных субкультур и множества прочих воздействий. И притом — что, может быть, особенно существенно — в условиях, когда завоеванные свободы служат благодатной почвой для духовных поисков и небывало надежной, так кажется, гарантией от засилья некой одной культуры.

Однако при таких вот благоприятных обстоятельствах совершенно вроде бы не логично в нашем обществе обнаруживается, проявлялось и в наших беседах с экспертами, постоянное присутствие опасений, что может возвратиться идеологическое государство, духовное насилие, казарма. Отчего же это?

На поверхности много простых ответов. Самый простой — вот такая вот она особенная, загадочная страна — Россия. Нашим социологам, политологам и, к сожалению, политикам очень уж полюбились строки Тютчева: “Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...” Но ведь это сказал поэт! Чешский писатель Милан Кундера в своей знаменитой “Шутке” обронил вполне справедливые слова о том, что поэту позволено сегодня утверждать, будто мир залит солнцем и радостью, а завтра сокрушаться: в мире царит мрак безысходный. И поэт всегда прав. Ибо он художник, и его дело — передать отнюдь не обязательно то, что есть в реальности, а собственное сиюминутное вос-

\* Бердяев Н. Судьба России. Харьков, 1998. С.277.



приятие действительности. Он имеет на это право. Имеет ли, зададимся вопросом, такое же право ученый, тот же социолог или политолог? Совершенно ясно, что нет. Само слово “понять” для ученого означает, что в оценке реальности предстоит руководствоваться не субъективными впечатлениями и настроениями, а надежными фактическими данными. И если уж ставим перед собой задачу понять Россию, то требуется **измерить ее по всем параметрам, поддающимся оценке и измерению, именно общим аршином**, выявить общее и особенное, ее место и роль в мировом, общечеловеческом пространстве. Что совершенно очевидно, так это то, что рассматривать процессы, происходящие в России, а тем более прогнозировать их развитие немислимо вне контекста глобальных перемен, вне связи с развитием мировой научной и общественной мысли.

Но почему все же так модны стали в наше время, можно сказать, укоренились в политическом и даже научном лексиконе эти строки поэта? Кстати, строки оборванные, ведь дальше-то говорится, что “в Россию можно только верить”. Боюсь, что это продолжение утеряно не случайно: вера основательно подорвана. Ни понимания, следовательно, ни веры. Да, в прошлом тоже жестко сталкивались и боролись различные воззрения на действительность, различные представления о том, как должны развиваться страна и мир. Но у спорящих сторон все же их представления, их аргументация были строго выстроены, можно сказать — разложены по полочкам. У одних это были такие “полочки”, как производительные силы, производственные отношения, надстройка и т. п. Отсюда — обобщение, классовая борьба, революция, перераспределение собственности. У других — приоритет личности перед обществом, открытое общество, разделение властей, священное право собственности, демократическое государство. Или — регулируемая экономика, социальное государство и т. д. Собственно, в наиболее авторитетных философских концепциях тоже существовали строгие “полочки”. У Гегеля, от которого шел Маркс, а потом и наши марксисты, мир был более чем рационален. И Кант, хотя его теперь пытаются причислить к постмодернистам,

мечтал о хорошо обустроенном мире. Популярный и очень влиятельный ныне в США мыслитель Роберт Кэган уверяет, что Европа и живет сейчас как раз в таком мире\*. Он противопоставляет в этом смысле Европу и Америку, утверждает, что Европа движется от господства силы к самоорганизующемуся обществу закона и правил, международных соглашений и сотрудничества, она уже входит в постисторический рай, воплощающий кантовский “бесконечный мир”, благоденствует и не склонна поэтому ввязываться в различного рода силовые акции. А вот США имеют дело с анархичным и жестоким гоббсовским миром, где не действуют международные законы и правила, и все зависит от наличия и использования военной мощи. Здесь тоже ведь нет и намека на хаос и анархию, у Кэгана и гоббсовский мир по-своему рационален, разложен по полочкам, на которых таблички: тут — добрые, хорошие люди, а тут — злые и нехорошие...

Но в научных представлениях, отражающих современную реальность, такого рационального мира нет. Не существует он прежним даже в естествознании, где всегда признавались неизблемые законы, вроде закона сохранения энергии: тут убыло — там прибыло. Согласно квантовой механике, электрон движется не по строго определенной орбите, а совершает скачки “по своей свободной воле”\*\*(!). Эта теория, как и близкая ей по духу синергетика, ставит под сомнение причинно-следственную связь, то есть — не у каждого явления есть очевидная причина, а из одной причины не обязательно вытекает одно и то же следствие. Тем более в социальных науках понятия “закон общественного развития” и даже паллиативная “закономерность” практически исчезли. Ныне перед нами предстает **ускользающий мир**, ускользящий от познания, тем более от раскладывания по полочкам. Мир к тому же непредсказуемо меняющийся под воздействием его иссле-

\* См.: Кэган Р. Сила и слабость. Почему США и Европа по-разному смотрят на мир // Общая тетрадь. М., 2002. № 3. С. 90.

\*\* Из письма Эйнштейна Борну 24. 04. 24. Цит. по: Белокуров В. В., Тимофеевская О. Д., Хрусталева О. А. Квантовая телепортация — обыкновенное чудо. Ижевск, 2000. С.16. Эйнштейн, правда, спорил с таким представлением, утверждавшимся в то время в физике.

дования, и если уж об изменении объекта наблюдения под воздействием наблюдателя, его инструментов говорят, скажем, физики, то можно себе представить, насколько более вероятны изменения социальных объектов, явлений и процессов в результате и даже в ходе их изучения (скажем, социологических опросов и публикации их результатов). Ускользающий и меняющийся мир... Не случайно в новейшей социальной мысли нет, кажется, темы более модной, чем “конец науки” и даже “конец истории”. Хотя, казалось бы, попытки в той или иной сфере науки остановить процесс познания, равно и попытки — от гениального Бэкона до Фукуямы — создать систему науки, которая решила бы ее основные теоретико-познавательные проблемы, неизменно оказывались несостоятельными.

И в России в сознании людей происходит принципиальный сдвиг, ментальный переход от представления об однозначности, определенности, безвариантности социального развития к признанию многосложности, многовариантности, неопределенности. И не случайно одна из авторов книги “Российская социология 60-х годов” Нина Наумова завершила свое интервью такими словами: для социологии жизненно необходимо выходить на уровень мышления в естественных науках, перейти к усвоению того стиля, аппарата мышления, которым располагает современная неклассическая физика и теория сложных систем, овладеть такими категориями, как дополнительность, неопределенность, случайность, неустойчивость, целостность\*...

Но может ли жить наука при такой неопределенности, при отрицании самой возможности выявления законов общественного развития, при отсутствии таких ориентиров, как ценности и цели? Тем более может ли идти речь о какой-либо **сознательной и целенаправленной коррекции социальных процессов**? Не стоит ли тогда согласиться с Фридрихом фон Хайеком, что “пагубная самонадеянность” всякого рода реформаторов и революционеров только усложняет человеческую жизнь, приводит к ухудшению условий существования и страданиям людей? Есть ли сегодня ответы на эти вопросы?

\* См.: Российская социология 60-х годов...С. 316.

На фоне достаточно утвердившейся “ценностной нейтральности”, в условиях рассредоточения усилий общественной мысли, при дефиците, как было подмечено участниками одной из передач Александра Гордона, универсальных мыслителей, способных к синтезу научных достижений — типа Леонардо да Винчи (хотя, конечно, в науке присутствует и даже опять-таки модно стремление к междисциплинарности), на мировом интеллектуальном поле идет все же дискурс о новизне современности и о будущем. Интеллектуальная элита человечества, пережив крушение многих социальных идеалов и пору тупого прагматизма, как реакции на это крушение, все же возвращается к поиску смыслов — своего существования, существования личности и самой Вселенной.

Ницше в свое время сказал красиво: “Мир неслышно вращается вокруг людей, создающих новые ценности”\*. Социально активные мыслители не только рожают новые, но прежде всего возвращают людям вечные ценности. Может быть, можно сказать иначе — возвращают стремление осознать эти ценности на новом уровне, размышляя о современных вызовах жизни и возможных ответах на них. Но о каких ценностях идет речь? Не тут ли и начинаются главные сложности? Даже те, кто склонен признать необходимость и реальное существование ценностей, объединяющих людей, часто относят это лишь к тем или иным конкретным культурам, нациям, конфессиям, идеологиям, территориальным объединениям, то есть признают их локальное значение, но не общечеловеческое. Однако Папа Иоанн Павел II утверждает иное: “Всеобщие человеческие ценности существуют во всем многообразии культурных форм, и их следует найти и выделить как ведущую силу всего развития и прогресса”\*\*0. Пытается ли кто-то сделать это сейчас?

Нечто, несомненно, вырисовывается в трудах современных мыслителей, российских и зарубежных. Эрнест Геллнер в своей книге “Условия свободы”\*\*\* рассматривает свободу

\* Цит. по: Франк С. Непрочитанное... Статьи, письма, воспоминания. М., 2001. С.50.

\*\* Обращение к Папской академии социальных наук. Рим, 2001.

\*\*\* См.: Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М., 1995.

как *высшую ценность*, которая, однако, не дается человеку как некий дар, без собственных его усилий, прежде всего без осознания этой истины, без преодоления многого в себе и в окружающем мире. Его аргументы убедительны. Свобода представляется неоспоримой ценностью с точки зрения личности. Но вслед за этим встает множество вопросов. Почему же человек добровольно закабляет себя, например, в разного рода организациях, партиях, объединениях? Часто в таких, где лишается свободы чуть ли не полностью, как, скажем, в очередной партии власти, где непременно выстраивается жесткая иерархическая структура, не терпящая вольностей, ибо власть — дело серьезное. Тем более в экстремистских организациях, где культивируется беспрекословное подчинение лидеру, вождю, и ограничивается свобода воли рядовых членов? Не говорю уж о религиозных объединениях, особенно сектах. Одному человеку в современном мире плохо? Одному ничего не добиться? Или не каждый готов принять на себя бремя свободы, полную ответственность за собственное поведение, хочет переложить ее на других? У многих авторов с тревогой звучит вопрос: каким же станет человек, когда он окажется действительно свободным? Каждый ли способен справиться с этим состоянием? И в самом ли деле тогда свобода — абсолютная ценность? Может, прав великий инквизитор Достоевского, что “ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы... Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться”<sup>\*</sup>?

Для России проблема ценностей и — в частности или в особенности — понимания свободы неизмеримо значима. Как представляется, потому, что страна в прошлом веке пережила глубокие общественные расколы и потрясения, в ходе которых не только отрицались те или иные ценности, но и утрачивались все ориентиры, все точки отсчета — понятия добра и зла, нравственного и безнравственного, героического и позорного. Гражданская война — вершина раскола, но, я бы сказал, что в состоянии “холодной граждан-

<sup>\*</sup> *Достоевский Ф. М.* Братья Карамазовы // Полн. Собр. соч. Т. XIV. С. 230 — 231.

ской войны”, протекающей то в открытом, то в латентном виде, Россия находится постоянно, по крайней мере уже второе столетие. Это и теперь становится явным при любом общественном опросе: полярно противоположные ответы на вопросы, касающиеся как раз ценностей, делят общество, как правило, примерно пополам. Из глубины истории тянутся многие линии раскола. Начать ли отсчет от предреформенного времени середины XIX века, от 1861 года, или от Октября 1917, или от конца 80-х и начала 90-х, отношение к характеру власти и роли государства, к собственности, предпринимательству, к религии, западной культуре — что ни возьми, все вызывает резкое расхождение взглядов, а толерантности и компромиссам мы не обучены. Скорее наоборот: нам более свойственно, не будет преувеличением сказать — навязано, привито — отношение к тем, кто придерживается иной точки зрения, чем ты сам, как к противникам и даже врагам. Привито государственной школой, которая учила “ленинской бескомпромиссности”, “сталинской последовательности в борьбе с врагами”, собственно — всей системой образования, отголоски которого живы и сегодня во многих семьях, передаются по наследству и молодым поколениям. Это не говоря уже о системе пропаганды, самой атмосфере, в которой исповедовался принцип “жизнь есть борьба”. Но в значительной мере это обусловлено и объективной реальностью жизни ряда поколений, скажем войной с фашизмом. Притом даже церковь, разные религии, начиная с господствующего на Руси православия, демонстрировали скорее нетерпимость к инакомыслию, чем толерантность и компромисс.

Невольно возникает некая параллель с судьбой Германии. Близкий соратник Гельмута Коля Михаэль Мертес в книге “Немецкие вопросы — европейские ответы” исследует проблему национальной идентификации немцев. Какая, казалось бы, проблема в стране, где живет одна нация? Но Мертес следует “самому сильному и прекрасному”, как он пишет, определению того, что составляет основу нации, данному французским мыслителем Эрнестом Ренаном<sup>\*</sup>.

<sup>\*</sup> См.: *Мертес М.* Немецкие вопросы — европейские ответы. М., 2001. С.18.

Эта основа — общая память о том, что было пройдено вместе. Общие достижения. Общее страдание. Общая виновность. В воссоединенной Германии это проявилось как нечто очень значимое. В течение четырех десятилетий разделенности страны чувство общности у немцев не исчезло — уже потому, что память была старше, чем разделение. Однако почти два новых поколения немцев сформировались в разных мирах, где и достижения, и страдания, и то, что порождало чувство вины, были разными. Сами критерии оценок того, что хорошо и что плохо, различались порой полярно. У каждой стороны накапливалась своя “общая память”, и если прежде в Западной Германии была в ходу формула “два государства — одна нация”, то теперь, когда границы нации и немецкого государства совпали, новой реальности лучше соответствует формула “одна нация — два общества”. “Расколота память”<sup>\*</sup> — так характеризует автор состояние немецкой нации, немецкого общества даже через много лет после разрушения Берлинской стены.

Россия не знала подобной длительно разделенной жизни. Ее народ совместно пережил и революцию, и гражданскую войну, и сталинские репрессии, противостояния времен перестройки и путча, сначала защиты, а потом расстрела Белого дома... Но пережил-то по-разному: одни были красными, другие белыми, одни сидели в тюрьмах, а другие писали доносы, сажали, охраняли и расстреливали, одни слали танки к Белому дому, другие стояли в живом кольце его защиты. Общая память или тоже расколота у этих людей, находившихся по разные стороны баррикад? Было ли все, что случилось в последние десятилетия, только верхушечным расколом, верно ли, что все страсти, как часто говорят, бушевали только в пределах Садового кольца? Была ли у каждой из сторон социальная база в масштабе страны? И какие значения имеют ответы на эти вопросы для будущего России?

Возвращаясь к мысли Бердяева **об антиномичности российского общества**, современный исследователь Юрий Красин стремится выяснить, как эта антиномичность проявляется ныне<sup>\*\*</sup>. В трактовке И. Канта, напоминает он,

<sup>\*</sup> См.: Там же. С.42.

<sup>\*\*</sup> См.: Красин Ю. А. Политическое самоопределение России: проблема выбора // Полис. 2003. №1. С. 124-133.

антиномии — это утверждения, которые в равной степени логически доказуемы и в то же время взаимоисключающи. В применении к социальной действительности антиномичность указывает на особый тип противоречия, где каждая из противоположностей имеет одинаково прочное базовое основание в реальности. Противоречия-антиномии ведут к возникновению дилемм, не поддающихся снятию в результате единожды сделанного выбора. Пока сохраняются глубинные основания противоположно направленных тенденций, антиномичная дилемма вновь и вновь воспроизводится, требуя и нового выбора.

Российская действительность насыщена подобными дилеммами: авторитаризм *versus* демократия, гражданское общество *versus* корпоративное общество, федерализм *versus* унитаризм, рынок *versus* государственная опека над экономикой, постиндустриализм *versus* сырьевой анклав мировой экономики, противостояние *versus* партнерство на международной арене. Несмотря на принципиальную важность всех перечисленных дилемм, для политического самоопределения России особенно важное значение, констатирует автор, имеют первые три. На политическом уровне решающей представляется антиномия *демократия — авторитаризм*. Не будет преувеличением сказать, что вся российская политическая жизнь (и только ли политическая?) протекает в ее энергетическом поле, а ее центр тяжести смещается то к одному, то к другому полюсу<sup>\*</sup>.

Но ведь русская общественная мысль двух последних веков, как пишет Юрий Пивоваров, подготовила несколько моделей обустройства общества, прежде всего властного его измерения. Что-то и почему-то утверждалось в жизни и что-то отпадало. **Почему отнюдь не всегда утверждалось лучшее?**

Русская история, считает автор, навек карамзинская. Его, Карамзина, миф по поводу прошлого отечества стал одной из констант русского сознания, миф, сводящий историю страны к истории власти... Тем более интересно, чему же учит карамзинская история, чему наставлял наш Макиавелли власти предрержащие. Его именно наставительная

<sup>\*</sup> См.: Там же. С.125.

“Записка о древней и новой России” утверждает, что единственно возможный для России строй — самодержавие, претерпевающее, правда, постепенное развитие от самовласти к своеобразному варианту просвещенного абсолютизма. Своеобразие это состоит в патриархальном типе правления. Монарх руководствуется не юридическим законом, а действует по “единой совести”; воля самодержца — “живой закон”. В “Записке” содержатся такие принципы: “требуем более мудрости охранительной, нежели творческой”, “для твердости бытия государственного безопаснее поработать людей, нежели дать им не вовремя свободу”\*. Не знакомые ли нашим современникам мотивы звучат здесь? Не возникает ли ассоциация с множественными выступлениями ученых, деятелей искусства и других интеллектуалов, утверждающих, будто России необходимо если уж не самодержавное, то авторитарное правление?

Нечто совершенно иное, по мнению Пивоварова, предстает перед нами в творчестве М. М. Сперанского. Он завещал России идеи правового государства, разделения властей, систему министерств, кодификацию законов, теорию элит, социальное христианство... Но это “самый недооцененный отечественный мыслитель”\*\*\*. Как видим, и здесь отмечается разномыслие, особенно по главному вопросу: о политических устоях общества и государства, о соотношении противоположных установок — демократического и авторитарного характера. Почему же опять-таки в жизни России на протяжении столетий утверждалось и возобладало не то, что предлагал Сперанский, а нечто более близкое идеям Карамзина? **Почему в нашем общественном сознании так крепка вера в моносубъектную власть,** проще — в способность некоего мудрого правителя, “сильной руки”, всегда готовой “навести порядок”, всю нашу жизнь устроить наилучшим образом, и почему так слабо понимание возможностей и роли институтов гражданского общества, а также подконтрольных ему демократически разделенных властей? Этот вопрос давно волнует отечественных мыслителей, он остро стоит и теперь, ибо

\* Цит. по: Пивоваров Ю. Два века русской мысли С.173.

\*\* Там же. С.175.

при малейших политических или экономических неурядицах на нас накатывается волна советов обратиться все к тому же “рецепту спасения” — установлению жесткого режима правления, чрезвычайного положения, даже “демократуры” (додумались и до такой нелепицы). Ну, хоть на время, вот только на период этой кризисной ситуации... Теперь вот модна “авторитарная модернизация”. Почему?

Не думаю, что ответ найден. Хотя авторы ряда исследований, в том числе Ю. С. Пивоваров, А. И. Фурсов, Г. С. Лисичкин и другие, подводят к тому же выводу, к которому в свое время пришел наш выдающийся историк В. О. Ключевский: “Все беды нашего народа происходят от въевшегося в нас за всю тяжелую российскую историю холопства”\*. Холопское мышление, не ведающее иных форм существования, кроме как под чьим-то сапогом, не ценящее свободы, приспособляющееся к униженному состоянию лишь двумя способами — угождением этому “сапогу” и при возможности хитростью, обманом, — и не могло выработать иного представления о порядке, кроме устанавливаемого насильственно. Поэтому и в массовом сознании, и в русской общественной мысли (одно и другое не напрямую, но тесно связано) тенденция к установлению, оправданию, обоснованию авторитарной, по меньшей мере, патерналистской власти — одна из наиболее устойчивых.

Но, может быть, теперь, после длительной борьбы за демократические преобразования, после утверждения в обществе (в той или иной степени) либеральных ценностей, она сильно поколеблена? Социологические исследования не дали пока, на мой взгляд, убедительного ответа на этот вопрос. Несмотря на обилие цифровых данных, полученных по результатам опросов, пока можно говорить только о точках зрения. Прежде всего потому, что **данные эти противоречивы.**

Привлекло, например, общественное внимание широкомасштабное социологическое исследование “Самидентификация россиян в начале XXI века”, проведенное на базе ВЦИОМ по заказу Клуба 2015. Татьяна Кутковец и

\* Ключевский В. О. Соч.. Т. IX. М., 1990. С. 975.

Игорь Клямкин в статьях, отражающих и осмысливающих результаты этого исследования, дают характеристику того типа государственности, который часто называют “русской системой”. Ее основные характеристики — как раз самодержавная власть, патернализм, закрытость страны от внешнего мира, доминирование интересов государства над интересами личности, великодержавные внешнеполитические амбиции. “Предполагается, — пишут они, — что именно такая государственность соответствует особенностям россиян как народа (их врожденной приверженности коллективизму и православным ценностям, предрасположенности к патерналистской опеке и т. д.). Но так ли это на самом деле?”\* Авторы утверждают, что это представление устарело. Исследование показало: названные особенности действительно свойственны определенной части российского общества, но эта часть составляет незначительное меньшинство населения. Убежденные сторонники “русской системы” в таких ее проявлениях, как доминирование государства над личностью, патернализм и закрытость страны, составляют менее 7 процентов респондентов. Не велик и их резерв (22 процента), в котором сохраняется ориентация на два из трех названных признаков “русской системы”. В том и другом случае речь идет о группах населения с очень высоким процентом пожилых людей и низким уровнем образования. Между тем сторонники модернистской альтернативы “русской системе” (приоритет интересов личности, ее самостоятельность и ответственность за свою жизнь, открытость страны) составляют 33 процента населения при несколько большем по численности резерве (37 процентов). Вектор развития российского общества, вопреки распространенному мнению, явно направлен в сторону, противоположную традиционализму. Общество в большинстве своем отторгает отношение к себе как пассивному объекту государственного управления и государственной опеки.

Эти результаты многими специалистами были восприняты с немалым сомнением, настолько они оказались не-

\* Кутковец Т., Клямкин И. Нормальные люди в ненормальной стране // Московские новости. 2002. № 25.

жиданными. Ю.А. Красин, например, замечает, что в данных того же ВЦИОМ какой-то устойчивой долговременной тенденции в пользу определенного выбора не просматривается. Публикуются и другие данные, противоречащие наиболее оптимистическим выводам. Разумеется, нет оснований поддерживать или опровергать ту или иную точку зрения. Хотелось лишь подтвердить, что однозначного убедительного ответа на поставленный вопрос все же еще приходится ждать.

Некоторые социологические исследования, в частности и посвященное самоидентификации россиян (в целом чрезвычайно интересное), провоцируют постановку вопроса именно о **народных корнях негативных тенденций**, о которых говорилось выше. Таких, как приверженность идее сильной самодержавной власти, “сильного государства”, укрепления централизма. И более того — об отношении к подобным “народным ценностям”.

Убедителен ли вывод социологов, что народ у нас хороший, привержен модернистской альтернативе, современным европейским ценностям, а вот элита плохая, не готова и не способна управлять свободными людьми, и поэтому страна у нас “ненормальная”, как считает сам народ?

Нетрудно согласиться с тем, что наша политическая элита далека от совершенства, что она не научилась управлять обществом на основах демократии — иначе, чем с помощью традиционной “вертикали” — даже в условиях относительно спокойного состояния общества. Очень живуче в ее среде заблуждение, будто достаточно построить что-то вроде трубопровода для директив, спускаемых сверху вниз, от инстанции к инстанции, организовать контроль за исполнением, усилить жесткость наказаний за неисполнение, и дело пойдет. Вот такая “простая власть”, несмотря на ее полный провал “в прошлой жизни”, многими еще рассматривается как универсальная, пригодная для любой сферы деятельности “в этой жизни” — управления государством, экономикой, предприятиями, средствами массовой информации, образованием... Но откуда же такая элита берется? Кем она выделяется, выдвигается к власти? Народ отдельно, власть отдельно — разве так бывает?

Да, отчуждение народа от власти, от государства существует, разрыв между народом и правящей элитой тоже присутствует — это фиксируют многие исследователи общественного мнения. Однако разве нынешняя власть сформировалась не демократическим путем? Кто-то пришел к власти путем переворота? Были, конечно, на выборах разные уловки, но возможно ли отрицать открытую массовую поддержку наших лидеров последнего времени, забыть тот энтузиазм, которые сопровождали избрание и Ельцина, и Путина?

Говорят, нами манипулировали. Но ведь манипулировать кем-то можно ровно столько, сколько объект манипуляции это позволяет. Несомненно, то, что называют "административным ресурсом", серьезная штука. Вокруг лидера, в особенности авторитарного, будь то в центре или в регионе, всегда образуется некая рать, с которой не просто бороться. И все же мы знаем, что настоящая, как теперь говорят, упертость дает результат. Значит, дело в том, как сочетаются в народе терпимость и потенциал протеста, а вот относительно этого в серьезных социологических исследованиях не звучит оптимизма: первое преобладает. Более того, почти беспрецедентная русская терпимость часто рассматривается как достоинство народа и противопоставляется "кровавым революциям" и "беспощадным бунтам". Но правомерно ли противопоставлять именно крайности? Если уж настроились учиться демократическому разрешению общественных проблем, то не следует ли и в этом случае искать, да и просто использовать уже найденные другими средства влияния на элиты?

Еще древние наши предки различали два вида, два способа организации общественной жизни, взаимодействия людей, их мобилизации на общее дело — власть, основанную на законе, и власть тирана. Признаюсь, не впервые цитирую высказывание неизвестного моралиста V века, слова которого мне очень импонируют: "...Тирания, это ужасное и гнусное бедствие, обязана своим происхождением только тому, что люди перестали ощущать необходимость в общем и равном для всех законе и праве. Некоторые думают, что причины появления тиранов — другие и что люди лишаются свободы по недоразумению, без вся-

кой вины, просто потому, что они стали жертвой тирана. Но это ошибка... Как только потребность в общем для всех законе и праве исчезает из сердца народа, на место закона и права становится отдельный человек. Поэтому некоторые люди не замечают тирании даже тогда, когда она уже наступила..."\* Это в V веке писано! Это в V веке было осознано! То, что власть — плоть от плоти народа.

Говорят, причем с чувством глубокого удовлетворения: народ осознал, что живет в "ненормальной" стране. Но не мало ли этого? Не важнее ли, чтобы он осознал, почему страна "ненормальная". По чьей вине? На чисто бытовом, а то и политическом уровне достаточно часто звучит: во всех наших бедах виноваты влияние Запада, происки США, какие-то иные внешние силы, плетущие против нас заговоры, жидо-массоны, теперь вот мигранты, но только не мы сами. А вот заключение социолога, основанное на солидной базе данных: мы и теперь не избавились от "комплекса врага", вся атрибутика этой политической мифологии советского происхождения не может выйти из употребления, пока общество (именно общество и общественное мнение, а не только официально-воинственная пропаганда) нуждается в комплексе врага, бережно его хранит и активно использует. Прежде всего — для самооправдания, для того, чтобы носителем вины непременно оказывался некто посторонний\*\*. А наша самобытность, противопоставляемая внешним влияниям, если ее "поскрести", оказывается не столько приверженностью национальным культурным, историческим традициям, сколько комплексом своей исключительности, и это "самый распространенный в российском массовом и политическом сознании способ оправдания собственной косности"\*\*\*.

Нас учили с детства, что народ всегда прав, народ мудр и справедлив, "глас народа — глас Божий". Не настало ли время разобраться и с этим поточнее? Великие философы понимали, что тирания и рабство могут устанавливаться "в тени народной власти" (А. де Токвиль), даже при наличии

\* Цит. по: В. Хазанов. // Октябрь. М., 1991. № 10.

\*\* См.: Левада Ю. От мнений к пониманию. М., 2000. Сс. 504 — 505 и др.

\*\*\* Там же. С. 546.

внешних атрибутов свободы, демократических институтов. Мы знаем из совсем недавней истории, и своего, и, скажем, германского опыта, что диктатура может придти *не вместо* демократических институтов, а *вместе* с ними. Не пора ли более вдумчиво оценивать этот глас?

Но пойдем чуть дальше: а **состоятельно ли в строгом научном смысле само понятие “народ”**, всегда ли пригоден для анализа конкретных ситуаций и проблем? В те времена, когда за “блок коммунистов и беспартийных” голосовало 99,9 процента избирателей, было хотя бы это формальное, обманчивое, лживое основание считать, что существует единая “историческая общность — советский народ”. Теперь, когда явилось понятие “электорат” и в реальности он оказался чрезвычайно сложной структурой, нет и этого аргумента. Так стоит ли сейчас с прежней легкостью оперировать понятием “народ”, особенно в таком контексте, что он всегда сделает правильный выбор, он неизменно прав, выражает волю Божию? Это понятие годится для публицистики, но в науке, наверное, настало время употреблять его с большей осторожностью и точностью.

Позволю себе завершить размышления на тему о народе и власти тем, чем завершил свою книгу “Собственность и свобода” Ричард Пайпс. Он обращается к Токвилю, который предчувствовал, что в современном мире свобода столкнется с неведомыми прежде опасностями. Правители будущих поколений, писал он, “будут не столько тиранами, сколько наставниками”\*. Потакая желаниям людей и используя их зависимость от своей благотворительности, они отнимут у народа свободу. Он предвидел пришествие своего рода демократического деспотизма, при котором “неисчислимы толпы равных и похожих друг на друга людей... тратят свою жизнь в неустанных поисках маленьких и пошлых радостей, заполняющих их души”\*\*. Охранительная власть возвысится над людьми, государство-благодетель будет заботиться о безопасности граждан, возьмет на себя руководство их основными делами, управление промышленностью, регулирование прав наследования... “Отчего бы...

\* *Де Токвиль А.* Демократия в Америке. М., 1992. С.416.

\*\* Там же, с. 497.

совсем не лишить их беспокойной необходимости мыслить и жить на этом свете?” Правитель вылепит из граждан то, что ему необходимо. Он покроет общество сетью мелких, витиеватых, единообразных законов, которые мешают наиболее оригинальным умам и крепким душам вознестись над толпой. Он не сокрушает волю людей, но размягчает ее; он редко побуждает к действию, но постоянно сопротивляется тому, чтобы кто-то действовал по своей инициативе; он ничего не разрушает, но препятствует рождению нового; он не тиранит, но мешает, подавляет, нервнрует, гасит, оглушает и превращает в конце концов весь народ в стадо пугливых и трудолюбивых животных, пастырем которых выступает правительство... К тому ли мы стремимся?\*

И в самом деле — к тому ли? И как выглядит с этих позиций столь распространенная “ценностная нейтральность” науки?

Современный мир предстает в глобальном дискурсе о настоящем и будущем во всей противоречивости разнонаправленных процессов. Мир объединяется и мир дробится, атомизируется. В нем сосуществуют своего рода анклавов, образуемые подчас целым народом, большой или малой группой людей, живущих, с точки зрения других людей, в некоем зазеркалье. Европейец, француз или англичанин, стремится осмыслить и все же не может до конца понять, скажем, палестинца, который взрывает себя ради того, чтобы убить иногда двух-трех, пусть и больше, израильтян. Или российскую шахидку, поступающую точно так же. Но все же должны быть какие-то ключи к взаимопониманию людей, пусть относительно, неполному, однако такому, которое позволяет им, сведенным историей в соседи (мы ныне все соседи на этой планете, где так сжались пространства, расстояния и даже время), по крайней мере жить, не уничтожая друг друга. Где искать эти ключи?

Безопасное и плодотворное сосуществование цивилизаций, тех самых культур, представленных в их разных формах, многообразных общественных и политических течений, а также идеологий возможно лишь **в определен-**

\* См.: *Пайпс Р.* Собственность и свобода. — М., 2000. С. 378–379.



**ных условиях и формах, которые характеризуются как демократия**, — так отвечают на этот вопрос многие исследователи. Но ведь для российских условий эти понятия — “демократия”, тем более “практика демократии” — тоже оказались новыми, и мы нередко путаемся здесь еще в самых азах. Демократия, понимаемая как ценность, как современная ценность, смысл которой постоянно меняется, оставаясь, однако, в некотором идеальном отношении равным себе (определение Алексея Салмина), побуждает исследователя постоянно обращаться к истокам демократических идей, к Аристотелю с его понятиями политики и народовластия. И мы найдем в истории развития этой идеи много интересного. Но главное-то состоит в том, как в процессе становления демократии в России изменялись и практика, и отношение граждан к этой практике, и то, как перерабатывала информация об этом наука.

В начале преобразовательных процессов мы мало задумывались над тем, **какой демократии хотим**, так же как не задавались вопросом, к какому рынку идем. И только в начале 90-х нам стало яснее, что мы не просто выстраиваем внутренние рыночные отношения, но выходим на мировой рынок и принимаем его правила игры. Так и с демократией. Мы просто переносили на российскую почву те элементы демократического устройства, те принципы и институты, которые сложились на Западе — демократические выборы, разделение властей, свободу слова и прессы... Мы приняли западный идеал, который нас привлекал, не пропустив его через себя, очень мало задумываясь поначалу даже над тем, что немислимо перенять (как это представлял в свое время по отношению к конкуренции Прудон) только хорошую сторону демократии, устранив дурную. И вот теперь констатируем, что “идеальный образ демократии разошелся с реальной практикой преобразований” (вывод ИКСИ РАН)\*. Наши граждане испытывают глубокое разочарование (как это произошло, кстати, и во всех других странах бывшего “социалистического лагеря”) в идеалах демократии, по крайней мере в их воплощении на российской почве. Это фиксируется социологами

\* Известия, 28 июля 2003 г.

многих исследовательских центров, по результатам различных исследований — и длительных мониторингов, и последних опросов. Свобода и демократия, по этим данным, в России — не ценности. Возможно, и ныне актуально объяснение этих явлений Крейном Бринтоном: “...самое правдоподобное объяснение относительно крушения идеалов демократии и прогресса заключается в переоценке, допущенной их сторонниками в отношении разумности и способности к аналитическому мышлению сегодняшнего среднего человека”?\*

И вот теперь Россия, по крайней мере ее интеллектуальная элита, мучительно размышляет о том, **на какой культурно-политической почве укоренится ее историческая судьба**. Соединится ли она определенно и окончательно с европейской цивилизацией или так и будет искать свой особый путь, колеблясь между Западом и Востоком, упиваясь верой в свое особое предназначение, в некую свою миссию.

Многие, как известно, пишут о глубокой связи русской и западной культур, о том, что их противопоставление опасно, ведет к самоизоляции страны и повторению горького опыта прошлого. Вспоминают слова Вацлава Гавела, остроумно заметившего, что “третий путь ведет в третий мир”. Может быть, несколько категорично, без оговорок о реальных особенностях нашей страны, иные авторы заявляют, что выбор для России только один — это Запад, не в географическом, а культурном смысле слова. Кто же мы, если не европейцы? Может ли даже быть какой-то иной ответ на этот вопрос?

Но вот Александр Ахиезер, размышляя уже о научном осмыслении опыта западных демократий, буквально обрушивается в журнале “Pro et Contra” на догматизацию западной теории и методологии, на идолопоклонство перед ними. Он пишет, что не поверил бы в существование маститых обществоведов, отрицающих специфику российского общества, если бы не слышал собственными ушами, как они защищают именно такую позицию. “По-

\* Бринтон К. Истоки западного образа мысли. — М., 2003. С. 38–39.

знание... России — это в первую очередь уяснение ее особенностей”\*

Этот пафос спровоцирован как раз тем, что наши общественные науки, ограниченные в советские времена множеством табу, тихо заимствовали нечто из научных источников Запада, опережавшего нас уже в силу свободы исследований и публикации их результатов. Когда же у нас распахнулись не только окна, но и двери в Европу, а цензура над публикациями практически исчезла, кто-то вышел в использовании зарубежных научных достижений далеко за рамки разумного. Как писал Василий Осипович Ключевский, “чужой западноевропейский ум был призван нами, чтобы научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить им свой ум”\*\*. Алексей Богатуров замечает в том же “Pro et Contra”, что научная молодежь, основывающая исследования на западных методиках, оказывается не в состоянии соединить их с конкретными знаниями о России. Порой работы молодых ученых напоминают “две механически сочлененные емкости: одну — с описанием западной литературы и методик, другую — с ...фактическим материалом”\*\*\*. Отгалкиваясь от этого, Александр Ахиезер развивает мысль, что западные методики безразличны к российской специфике, западная социология не улавливает особенностей российского исторического процесса, а наши исследователи некритически пользуются готовыми схемами и не видят источника нового знания в изучении отечественной реальности.

Наверное, в этом немало истины. Но ведь, с другой стороны, возможно ли двигать вперед науку, изолируясь от общественной мысли иных, тем более развитых стран, от науки, уже осмыслившей многое из того, что нам еще предстоит осознать? Вопрос риторический. И сказать, что у нас особый путь — значит, еще не сказать ничего. Может быть, мы просто непродуктивно тратим время на такие дискуссии? Может быть, все дело в не очень строго прописанных позициях, в столкновении крайностей, кото-

\* Ахиезер А. Можно ли понять российское общество, не исследуя его специфику? // Pro et Contra. осень 2000. С. 201.

\*\* Ключевский В. О. Соч. Т. IX. С. 371.

\*\*\* Богатуров А. Десять лет парадигмы освоения // Pro et Contra, 2000. Т. 5. № 1. С. 197.

рые при большей гибкости и точности формулирования окажутся отнюдь не противоположностями, а просто разными акцентами на разных сторонах одного предмета, даже одной истины? Большая точность, даже строгость в этом смысле особенно важна теперь, когда в стране не существует хотя бы самого общего согласия как раз относительно путей и целей ее развития, нет нужной ясности ни у граждан, ни, кажется, у властей. Возникает даже мысль, что сами поиски того, вокруг чего могло бы образоваться согласие, идут не по главному направлению. **И не смещают ли даже дискуссии на тему “общим путем или своим путем” акцент внимания от цели к средствам?**

Сейчас нам пришлось озаботиться не просто чертами будущего России, а тем, есть ли у нее будущее. **Это связано с демографическими проблемами**, которые выступают как часть общей демографической ситуации евроатлантической цивилизации — Европы и США. Мощные миграционные процессы, без которых стареющая Европа уже и существовать не может, ведут к тому, что к концу нашего века этнические европейцы станут, возможно, меньшинством у себя дома. При этом, замечает, например, Михаил Веллер, замена этноса внутри государства раньше или позже, в той или иной степени ведет к видоизменению самого государства. Нам ли, пережившим татаро-монгольское нашествие, не знать, какое влияние вторгнувшаяся в некую национальную среду посторонняя культура способна оказать на всю жизнь нации и в частности на ее государство? Тогда ведь мало что осталось от традиционного для России общественного и государственного порядка, в том числе — специфической её “демократии”, основанной на своеобразном разделении властей: князь — вече — боярство — церковь...

В последнее время о демографических проблемах стали много говорить и писать. Но чисто ли демографические они, эти проблемы? Приводились, как известно такие цифры: территория России составляет примерно 1/8 мировой территории, население же — менее 2,4 процента, а наша доля в мировом производстве валового продукта — того меньше: по разным подсчетам, от 0,6 до 1,3 процента. При таких соотношениях, считают специалисты, страна не мо-

жет выдержать естественного давления соседей. И проблема, подчеркнем, не в их злонамеренности или агрессивности, а прежде всего во внутренних наших причинах, в ослаблении и упадке бывшей империи. Экономическая плотность населения на огромных территориях Сибири и Дальнего Востока недостаточна для создания современной инфраструктуры, для нормального экономического развития. И этот вакуум сам по себе втягивает теснящиеся рядом народы. Если даже быть большим оптимистом, то придется сказать, что мы стоим перед опасными тенденциями, ведущими к исчезновению России, по крайней мере, как значительной в мировом масштабе державы, что перед нами со всей остротой и по-новому встает проблема, задача, цель, сформулированная применительно к иным условиям графом Шуваловым: **сбережение народа**. Не верно ли было бы уже с этих позиций, понимая неимоверную важность и сложность проблемы, и оценивать средства достижения цели, возможные пути общественного развития, учитывая опять-таки, что мы движемся не в пустом пространстве, а вместе со всем человечеством, крепко с ним спаяны? Не самоубийственны ли попытки отделиться от него, тем более противопоставить ему себя, таких особенных, таких непознаваемых, к тому же все еще не до конца избавившихся от притязаний на великодержавность и даже мессианство?

Научное осмысление перемен в мире и места России в нем происходит ныне главным образом под углом зрения **глобализации**. Наверное, это правильно. Глобализация со всеми ее плюсами и минусами — определяющий процесс. Однако содержание его и общего процесса мировых трансформаций столь сложно и многообразно, что хочется все же выделить некоторые проблемы, заслуживающие особого внимания и осмысления.

Процесс глобализации развивается таким образом, что узкая группа индустриальных держав играет в нем главенствующую роль, выступает в качестве субъекта преобразований, а огромное большинство остальных стран превращается в объект их действий и вынужденно дрейфует в заданном ими направлении. Более того, никогда еще в мировой истории не складывались условия, столь благо-

приятные для установления мирового господства одной державы (возможно, совместно с клубом союзников, конфигурация которого меняется, подбирается каждый раз ведущей державой в соответствии с ее конкретными целями). Мне приходилось уже писать в связи с этим о возможности международного тоталитаризма. Наверное, это понятие еще эпатирует иных ученых. Будем говорить тогда о тенденции сосредоточения во властных структурах одной страны или некой международной организации средств глобального господства, об использовании их для воздействия на всю международную ситуацию, о подчинении своим интересам жизни всего мирового сообщества, о вмешательстве в дела суверенных государств и насильственном подавлении любого протеста против такого вмешательства. Это примерно и соответствует понятию “тоталитаризм” в национальном масштабе.

Ныне самый реальный претендент на мировое господство — Соединенные Штаты Америки. Они властвуют прежде всего в экономике. Но они вольно или невольно и во всем ином подгоняют жизнь человечества под свои интересы и стандарты. Пусть даже во многом привлекательные, эти стандарты оказываются чуждыми для иных народов и вызывают отторжение, а порой и жесткий протест. Вместе с тем, основываясь на грандиозных технических достижениях, США добились подавляющего военного превосходства, многократно превзойдя военную мощь всех остальных государств, вместе взятых. Эта оценка принадлежит видному британскому ученому, лауреату Нобелевской премии мира, одному из первых разработчиков атомной бомбы Джозефу Ротблату. И он обвиняет сегодняшнюю администрацию США в том, что она начинает воспринимать ядерное оружие не как средство сдерживания агрессии, а как инструмент давления на неугодные государства.

Эти процессы развиваются на фоне реального ослабления эффективности деятельности международных организаций. В последние десятилетия росла их численность, создавались новые региональные конструкции, возникали новые, как бы отраслевые, международные ведомства, но в целом качество взаимодействия стран в рамках основных организаций, охраняющих мир на планете, прежде всего

ООН, отнюдь не улучшалось и даже ухудшалось. Очень печально, что мировое сообщество слишком легко согласилось с практической отменой одного из общепринятых прежде принципов международного права — невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Появился новый постулат, провозглашенный Генеральным секретарем ООН Кофи Ананом: принцип невмешательства не является основополагающим по отношению к государствам, нарушающим права человека. Как всегда в подобных ситуациях, возникает вопрос: кто решает — “нарушают” или “не нарушают”?”. De facto признается право превентивных военных действий против той страны, которая только подозревается в злонамеренных и опасных умыслах против других стран. И здесь господствуют субъективные оценки правомерности применения насилия. То, что прежде без сомнений называли бы агрессией, теперь выступает как оправданное действие в интересах “цивилизованных стран”. Не запутались ли уже юристы-международники во всех этих понятиях, просто признавая право сильного? Не слишком ли молчаливой оказывается наша наука, занимающаяся международной проблематикой?

Односторонние действия такой могущественной державы и ее союзников обретают в глазах мирового сообщества, по крайней мере значительной его части, своеобразную легитимность в связи с активизацией сил **мирового терроризма**. Причины его небывалой вспышки часто трактуются упрощенно, сводятся чуть ли не к личным качествам людей. Серьезные аналитики говорят о глубоких его корнях. Здесь также обнаруживаются разные подходы к проблеме и точки зрения.

**Основную причину многие специалисты усматривают в исламском фундаментализме.** Ислам, как признано большинством исследователей, неоднороден, но исламский фундаментализм действительно таит в себе серьезнейшие опасности для человечества. Он ведь тоже претендует, по сути, на мировое господство. Эрнест Геллнер писал, что в наше время в мусульманском мире можно наблюдать устойчивую тенденцию к созданию Уммы, харизматического сообщества, преданного религиозной идее и считающего своим моральным долгом “насаждать ее всюду, где оно обладает какой-то властью или влиянием. Исламский закон

формально обязывает мусульманских правителей вести Священную войну за распространение веры не реже чем раз в десять лет (таков максимальный срок перемирия с неверными), если обстоятельства этому благоприятствуют и есть хоть какая-то надежда на победу... Некоторые исламские лидеры тихо игнорируют это обязательство, и будут так делать впредь. Но кто-то ведь может его и выполнить”\*. Едва ли стоит не принимать это во внимание.

Но вот и совершенно иная точка зрения: “Запад использовал силу в отношениях с Востоком с тех самых пор, когда эти отношения только зарождались, — пишет Мухаммед Аба аль-Хейль, видный государственный деятель Саудовской Аравии. — Практически ничего не изменилось и сегодня: две цивилизации связаны враждой и неприязнью друг друга... нет оправдания тому, что Запад, имея дело с Востоком, всегда воспринимал применение силы как правило и средство. Поэтому восточным народам Запад представляется постоянным агрессором”\*\*. Найдется ли историк, который сумеет опровергнуть по меньшей мере то, что было в прошлом?

Та же проблема рассматривается и под иным углом зрения. Известно, что Гарвардский профессор Сэмюэл Хантингтон и его коллега из университета Геттингена (ФРГ) Бассам Тибси еще в последние годы прошлого века независимо друг от друга пришли к выводу: **в исследовании современных международных процессов большое значение имеет понятие “цивилизация”**. Бывший посол Германии в Российской Федерации Эрнст-Йорг фон Штудниц писал в журнале “Общая тетрадь”, что самые серьезные конфликты современности происходят на разделительной линии между западной цивилизацией и арабским, мусульманским миром\*\*\*. Нельзя не признать, что в повседневном взаимодействии различных цивилизаций проявляется их неравное положение, и проявляется болезненно. Одна из них, навязывая другой (или другим) свой образ жизни, как бы не позволяет более слабым жить по своим законам, в соответствии со сво-

\* Геллнер Э. Условия свободы... С. 187.

\*\* Мухаммед Аба аль-Хейль. Эгоизм силы // Россия в реальной политике. Т. 1. № 1. январь — март 2003. С. 102.

\*\*\* Штудниц Э.-Й. Диалог культур в мире завтрашнего дня // Общая тетрадь. 2002. № 1. С. 26.

ими традициями. На этой почве, как пишет Бассам Тибби, “происходит милитаризация конфликта мировоззрений”<sup>\*</sup>.

Не следует ли искать корни терроризма, в частности, и в том, что **в мире нарастает экономическое неравенство**? Мировая экономика раскололась на “зоны роста” и “зоны застоя”. Директор Института стратегических оценок Александр Коновалов назвал такие данные: если в XIX веке богатые страны были богаче бедных в 3 раза, то теперь — в 86 раз. Он не считает это оправданием терроризма, но не сомневается, что нарастающее экономическое неравенство, связанное с этим чувство униженности и несправедливости целых народов — элемент той базы, на которую опирается экстремизм вообще и терроризм в частности.

Стоит принять во внимание и то, что **терроризм профессионализировался**, и, возможно, все описанные обстоятельства — лишь условие, которое способствовало возникновению особой сферы бизнеса — бизнеса на крови. Но это еще надо доказать. То, что превращение террора в бизнес — самое существо явления. Это требует исследований и проверки, так же как и международный тоталитаризм.

Нет, я не хочу сказать, что международный тоталитаризм — уже сложившаяся реальность. Не обязательно разовьется та тенденция, о которой говорилось выше. Но я глубоко убежден, что существует такая возможность. Она слишком серьезна, чтобы не предпринимать нечто именно для того, чтобы она не реализовалась. Но что можно предпринять в столь сложной ситуации?

Еще в середине XIX века сэром Генри Мейном, юристом, были сказаны такие слова: “Война, судя по всему, стара, как само человечество, мир — это новейшее изобретение”. Думается, очень верно подмечено, что мир нужно именно создавать, без человеческих усилий, без поисков общественной мысли, научных поисков, политической воли демократических государств он не родится.

Приходится, однако, обратить внимание на то, что эта же, по сути, **проблема — суверенитета, взаимосвязи национального и наднационального** — по-своему, но тоже до-

<sup>\*</sup> Тибби Б. Самобытность Европы — отсутствие самобытности. // Общая тетрадь, 2002, № 1, с. 38.

статочно остро, встает как раз в процессе активного созидания нового, современного мира, в частности в процессе интеграции. Европа прошла долгий и мучительный путь к своему объединению. Между тем трудные европейские проблемы и теперь не решены до конца. Для каждого народа стал большим вопрос: либо уступить важные полномочия и прерогативы наднациональным институтам, ограничив национальный суверенитет, национальные амбиции, либо оказаться в стороне от интеграции, а значит, и от стремнины перемен. Между тем государственная мощь и благосостояние граждан любой страны все больше зависят именно от включенности национальных предприятий в мировое разделение труда, от конкурентоспособности стран-систем, больше, чем от территории и народонаселения<sup>\*</sup>. Экономика страны, которая выпала из перекрестья информационных, финансовых, торговых и прочих потоков, обречена на упадок.

Противоречие между необходимостью наднациональных институтов и сохранением национального суверенитета, возможно, разрешимо или разрешаемо каждый раз по-своему в конкретных обстоятельствах, описанная альтернатива, возможно, ложная, но ведь еще надо найти решения.

Множество новых вопросов встает перед наукой с развитием и применением современных технологий. Скажем, формы работы и общения специалистов Силиконовой долины в США и других подобных центров, творящих новые образцы деятельности и ломающих прежние представления как о видах продукта, так и о способах его производства, обуславливают **смену представлений об управлении**. (И это один из важнейших аспектов проблемы коррекции социального развития.) Схемы “простой власти”, типа трубопровода, о которых говорилось выше, в таких условиях абсолютно непригодны. Современное производство сравнимо с творчеством художника. Но ведь если можно заказать или даже приказать написать портрет женщины, то возможно ли по приказу создать Джоконду?

Вот в этом мы расходимся все дальше с выбором развитых стран. Мы все еще исходим из возможности произвола

<sup>\*</sup> См.: Жан К., Савона П. Геоэкономика. М. 1997. С. 12.

в управленческих решениях и хватаемся за самые грубые инструменты воздействия на общественные процессы, — образно говоря, за лом и дубину, однако тенденции современного развития требуют совсем иного: всматриваться в реальность жизни, как мастер резьбы по камню всматривается в его естественный узор, чтобы выявить и подчеркнуть потом природный рисунок. А для необходимой коррекции использовать тончайшие инструменты. Человек ведь куда сложнее, чем любая иная материя. Шекспир устами Гамлета ой как давно сказал, что “играть” на нем, как на флейте, невозможно... Не требует ли и само развитие человека пересмотра всех принципов и способов управленческой деятельности?

Громада проблем, встающих перед человечеством в начале XXI века, все вызовы жизни — это вызовы человеческому интеллекту, от него зависит выживание человека как биологического вида. Вся сложность преломления общечеловеческих проблем в России — это вызовы нашей общественной мысли и нашей науке. Право каждого ученого реагировать на них по-своему, может быть, не брать на себя ответственность за весь мир и всю Россию, а просто “наслаждаться сложностью мира и процессом понимания этой сложности”? Художники и поэты любят говорить о самовыражении как своем праве и даже единственном мотиве творчества. Почему бы и ученому не заявить о своем таком праве?

Но есть иные мыслители, иные исследователи, и среди них есть модернизаторы и консерваторы, агностики и, можно сказать, прорицатели, оптимисты и пессимисты, которых, однако, объединяет одно очень важное качество, не всегда даже связанное с тем или иным из названных свойств и настроений. Это стремление понять, что происходит в мире, и если даже не до конца ясен вектор изменений, “делать, что должно”, сознавая, что только человеческая мысль, слово и дело могут предотвращать или как-то смягчать опасное, вредное, нежелательное в стихийном процессе развития, обеспечивать по возможности достойное человека существование. Юрий Сенокосов напомнил в журнале “Общая тетрадь” о девизе эпохи Просвещения и его происхождении. В одном из поэтических посланий Го-

рация, пишет он, говорится: чтобы зарезать человека, до света встанет разбойник. Так неужели ты не проснешься, чтоб уберечь себя? Стоит ли уподобляться глупцу, ждущему, когда мимо него протечет вся река, чтобы перейти на другой берег? Не лучше ли немедленно начать упорядочивать свою жизнь, чем ждать, пока она кончится? Тот, кто начал, уже сделал половину дела. “*Sapere aude!*” Осмелюсь быть мудрым! Кант в статье “Что такое просвещение?” уже в первом её абзаце цитирует Горация и заявляет: “*Sapere aude!* — имей мужество пользоваться *собственным* умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения”.

Пафос философии Канта — творчество, он пытался объяснить исследователям, что ученый труд есть деятельность, а не созерцание. Его размышление о “вещи в себе” (так принято переводить немецкое *Ding in sich*, хотя, пожалуй, вернее было бы сказать “вещь сама по себе”, или “вещь как она есть”) уже содержит эту мысль, ибо эта вещь превращается в нечто реальное для человека только тогда, когда она научно познана. Сознание не только отражает, но творит тот мир, в котором живем.

Мир, по сути, повторяет конфигурацию нашего действия, — вторит Канту Анри Бергсон, — он вырезан из вселенной ножницами нашего восприятия. Этот творимый человеком мир включает и самого творца.

Есть исследователи, которые считают, что представления о будущем определяются тем, сумеет ли человек как вид себя трансформировать. “Сколько веков человек ставил задачу — познай себя. А в сравнительно недалеком будущем... он серьезно начнет менять себя как вид. Человек будет менять и себя, и мир. Он придаст и себе, и миру удобные формы. Разрешим ему устроить свой дом по-разному...” — это слова одного из наших авторов. И вот эти люди, смело мыслящие, активно действующие, при нашем полном признании права каждого ученого и мыслителя на собственную позицию в этом вопросе, все же интересовали нас более всего.

Если вернуться к замыслу книги и учесть ее своеобразие, станет понятно, что в отборе авторов не могла идти речь о какой-либо форме представительства различных школ и течений, тем более о привычной для социологии ре-

презентативности. Не могли мы быть и беспристрастными, как, впрочем, и подавляющее большинство социальных исследователей, даже если они и декларируют свою беспристрастность. Но отбор собеседников не был случайным.

Масштаб поставленной задачи предполагал участие в работе специалистов различных отраслей знания. Принцип отбора авторов — наличие в их публикациях широты взгляда на социальную реальность, глубокого понимания новизны современной ситуации и свежих идей. Наверное, добрая сотня или более вопросов, заданных нами самим себе и частично нашедших отражение в этой вводной статье, сконцентрировалась в нескольких общих тезисах, выдвинутых на обсуждение наших собеседников. Вопросы конкретизировались в ходе бесед соответственно научным пристрастиям, тематике исследований каждого автора. А суть их, на мой взгляд, соответствует тому, над чем еще полвека назад размышлял Крейн Бринтон в своем бестселлере “Идеи и мысли. История западной мысли”:

“В демократическом обществе сейчас существует убеждение, что каждому члену этого общества дано играть определенную роль в сложном процессе, который ведет к тому, что медленно, сбивчиво и, пожалуй, непредсказуемо желания людей и формы, в которых они выражают эти желания, видоизменяют существующую действительность и наши представления о ней”. И далее: “...одна из больших проблем состоит сегодня в следующем: могут ли так называемые общественные науки или науки о поведении человека (включая прикладную генетику) вооружить нас способностью управлять окружающей средой, сотканной из человеческих жизней и отношений, хотя бы приблизительно в такой же степени, в какой естественные науки позволяют управлять средой нерукотворной?”\* Не стало ли это в начале XXI века даже более актуальным, чем прежде?

*Александр Волков*

## Часть первая

---

\* Цит. по русскому изданию части этой книги: Крейн Бринтон. Истоки западного образа мысли. М. 2003. С. 10, 29.

А.Ф.Филиппов  
Другой мир — другая социология

— Александр Фридрихович, вы относитесь к тому поколению ученых, которые определяют сегодня научный поиск. По мнению ряда исследователей, мы переживаем критический момент в истории цивилизации, когда происходит переход человечества в качественно новое состояние. Отвечает ли это вашему мироощущению? Как вы охарактеризовали бы важные, с вашей точки зрения, тенденции мирового развития и российские реалии?

— По-моему, практически каждое поколение ощущает, что живет в какой-то переломный период. Или, точнее говоря, на протяжении жизни каждого поколения возникает ощущение, что оно попало на какой-то очередной перелом, потому что бывают очень долгие периоды тяжело переживаемого безвременья (это отдельные ощущения) и бывают столь же тяжело переживаемые переломы. И в этом смысле — да, конечно, такое ощущение есть, однако то же самое чувствовали или будут чувствовать другие при совершенно иных обстоятельствах. Скажем, люди, которые на двадцать лет старше меня, в 60-е годы, конечно, сказали бы: да, мы живем в переломный момент... Но мне кажется очень важным не придавать чрезмерного значения этим своим ощущениям.

Двадцать лет назад у меня было ощущение абсолютно безвременья, полной глушки. А потом — ощущение того, что происходит решительный перелом, мир переменялся, наступает небывалая эпоха. Сейчас это ощущение становится несколько глуше, потому что я вижу: очень многое из того, что казалось невиданным, таким не является. Я никогда не использую в своих работах понятия “че-



ловечество”, “цивилизация”, то есть они не являются моими рабочими понятиями, поэтому и здесь соответственно не хотелось бы говорить в терминах, в которых вопрос предложен. Но могу сказать (чтобы не оставлять его совсем без ответа), что все очень сильно зависит от конкретного момента, когда такой вопрос задают, и от конкретного места, где на него отвечают. Например, когда мне приходилось в начале 90-х годов беседовать о наших событиях с коллегами в Германии, упоминая и о тогдашнем достаточно кризисном состоянии, они отвечали: “Но вы все-таки не понимаете, что для нас сделал Горбачев. Мы прожили всю свою жизнь под навесом ракет, это был постоянный страх. Теперь наконец-то мы освободились”... Да, у нас были абсолютно разные ощущения, у них — облегчения, у меня — определенно катастрофическое. Но ни то, ни другое не были подлинными. Не только в смысле житейском — это был и неправильный научный взгляд на ситуацию.

Если не уходить от вопроса слишком далеко, а с другой стороны — не вдаваться в перечисление общих мест, я бы сказал так: проблема любого социального ученого состоит в том, что он пытается осмыслить некий обыденный опыт в научных терминах, понятиях, объяснительных схемах. Но у него тот же самый опыт, что и у других современников, благодаря чему и могут появиться теоретические работы, представляющие интерес для тех же современников. У всех общее ощущение, в значительной степени возникшее не из того опыта, который раньше в философской антропологии называли “опытом из первых рук”, но из вторичного — опыта, пропущенного через призму чужих книг, чужих мнений — в свою очередь, тоже вторичных или третичных, циркулирующих в средствах массовой информации, во всей информационной среде. И когда я пытаюсь фиксировать это ощущение, могу сказать: да, я чувствую, как мало-помалу размываются некие опорные точки, которые структурировали бы как позитивное, так и негативное восприятие мира; эти опорные точки, или схемы восприятия, которые шли со мной, как мне казалось, из детства в юность, из юности в более зрелый возраст, когда я испытывал разочарование и когда появлялась на-

дежда, — шли со мной, потому что и возникали от столкновения со всем этим. Сейчас, повторю, происходит размывание той устойчивой структуры. Не думаю, что у меня могут быть разочарования, потому что у меня нет надежд. Нет страха, потому что нет ощущения безопасности. И я фиксирую это не только как новое ощущение, присущее и другим, но и как определенное состояние мира. Если угодно, состояние социального мира.

— *Такое ощущение, вы считаете, присуще всем поколениям?*

— Это можно выяснить только эмпирически.

— *А себя вы относите к какому поколению?*

— Оно достаточно четко фиксируется. Когда я начинал учиться в университете, там было немало людей, уже прошедших какую-то школу жизни (на философском факультете, а тем более на отделении научного коммунизма это не считалось редкостью). Некоторые были намного старше меня (на 7–8 лет). И соответственно сейчас, по прошествии стольких лет, хотя связи между нынешними 50-летними возникли по большей части помимо меня, я не чувствую себя чужим среди этих людей. Много друзей. Общаемся как равные коллеги. И думаю, мое поколение кончается именно на этом возрастном уровне — кому сейчас 50 или чуть больше. Ну а если брать нижний уровень, то он замыкается где-то на 39–40 годах. И это связано не с тем, что, скажем, люди, которым сейчас 35–38 лет, мне чем-то чужды. Все обстоит гораздо хуже — я их просто не знаю. Я с ними не соприкасаюсь, даже не уверен, что они вообще есть в науке. Может быть, здесь сказался процесс, который я с грустью отмечаю уже давно — нарушение нормального формирования научных имен, и люди, которые при других обстоятельствах (таких, какие были, скажем, у меня) сейчас уже имели бы имя, по ряду причин не могут его себе составить. Но чем бы это ни было вызвано, я их не знаю. С другой стороны, я знаю 30-летних и более молодых, примерно до 25 лет. То есть я снова представляю

себе это поколение. Здесь есть некий провал в 7–8 лет. Но я точно знаю, что какие бы приятные отношения у меня ни были с теми, кому сейчас 25–32, — это не мое поколение и оно никогда не будет таковым. И я, в свою очередь, для них не являюсь тем, кем для меня являются нынешние 50-летние.

— *Известно суждение, что поколения складываются под влиянием “судьбоносного” для данной возрастной когорты события. Какое именно событие, если следовать этому суждению, вы склонны считать определяющим для вашего времени и поколения?*

— Есть два момента: главное событие и главное несобытие. Главное несобытие: когда мы пошли в школу, это было начало брежневской эры (1965 год), а когда я пошел в аспирантуру, приближался ее конец (80–81-е годы). А значит, практически все формирование молодого человека, ключевые годы прошли в самую “неподвижную” эпоху. Это, безусловно, важно не только для меня, но и для всего моего поколения.

— *“Потерянное поколение”?*

— У меня именно такое ощущение. Когда в школе мы стали учить стихотворение Лермонтова “Печально я гляжу на наше поколенье...”, я с ужасом понял, что это про меня. Думаю, до известной степени так оно и есть. Из этого невозможно выпрыгнуть, сколько не пытайся.

А главное событие, которое в известном смысле мобилизовало нас, — это вся так называемая перестройка. И в смысле возможностей, которые появились, и в смысле возможностей, которые исчезли. В начале 90-го я уехал в Германию, на год, в числе первых отечественных стипендиатов Фонда Эберта. Помню, когда в 86-м или 87-м начали говорить, что сейчас мы станем открывать “всякие двери” и т. д., меня охватывала жесточайшая тоска: я был в полной уверенности, что все это очередная болтовня, ничего не будет. И когда наконец это случилось — могу сказать теперь, оглядываясь, — случилось слишком поздно. Мне

было 32, уже совсем не юношеский возраст. С одной стороны, еще ученый без имени, но с другой — вполне сложившийся, сформировавшийся и в значительной степени негибкий (менее гибкий, чем бывает человек, у которого за спиной нет ни публикаций, ни какой-то собственной позиции, ни тем более диссертации). Тем не менее я считаю, что это событие — перестройка, открывшиеся с ней возможности, лично для меня, безусловно, сюда добавилась и поездка в Германию — полностью меня перевернуло. Не в том смысле, что прежде, скажем, в моих текстах были хвала советской власти и много ссылок на Брежнева, а теперь советская власть исчезла и я стал кричать: “Долой партократов!”. И до того встречались лишь навязанные ссылки (любой нормальный редактор знал, что книга просто не пройдет, если в каком-то месте нет соответствующей цитаты). И после не было ни одной публикации, например, по разоблачению ужасов социализма. Я говорю о другом: в принципе поменялось все воззрение. Просто работы разного типа, разного уровня.

— *Несмотря на то, что ваши работы, скажем так, несколько абстрактного характера?*

— Именно поэтому. Прежние писались под влиянием тех людей, которые входили в этой связи в мою референтную группу, в первую очередь, конечно, Юрия Николаевича Давыдова. И это были работы просветительского плана: “Недавно мне достали книжку, которой нет больше ни у кого, сейчас я вам расскажу”. Ройся хоть во всех библиотеках Москвы и страны, этой книжки действительно нигде не было. А когда попадаешь в Германию, в город Билефельд, где на полкилометра, в два этажа, по обе стороны огромной галереи тянется библиотека, и ты можешь взять любую книгу... — то понимаешь, что рассказывать кому-то, что ты прочитал какую-то книгу и в ней сказано то-то, — по меньшей мере, странно; что надо заниматься какими-то совсем другими вещами, которые как бы откладывались на потом. Предполагалось, что главное люди вычитают между строк. Ну, разве не ясно: “Я написал то-то и то-то, а все остальное читатель может додумать сам”. Не

может он ничего додумать. Ему нужно все говорить открытым текстом. Перед ним нужно ставить проблему — именно абстрактную, кстати говоря, потому что раньше не хотели ставить “закрытые” проблемы, считавшиеся прерогативой либо высших, номенклатурных философов, либо людей совершенно сумасшедших, сочинявших какие-то отечественные самоделки и потому никакого интереса не представлявших. Сегодня совершенно невозможно представить, что я начал бы так писать, если бы не возможность посмотреть на то, как нормально функционирует нормальная наука.

— *Ваша референтная группа осталась прежней?*

— Думаю, референтная группа осталась та же. Может быть, когда я пишу для кого-то, она шире, чем мое поколение. Это разные вещи. Но я точно знаю, что трудно установить контакт с теми, кто пришел сейчас со школьной скамьи.

В 95-м году я приехал в Швейцарию, там была большая русская колония, молодые люди, которые практически все сейчас выпускали книжки здесь, в России (живут там, а книжки выпускают тут, у них неплохие имена в своей среде). Теперь им, конечно, уже за 30, тогда они, соответственно, были моложе. Все получили докторские степени во Фрибуре, в университете, а я писал про империю. Они не могли понять, почему меня так интересует эта тема. Их занимали совсем другие вещи: постмодерн, какие-то высшие сферы (не будем это перечислять, пришлось бы вводить ненужную терминологию). А мои проблемы, связанные с распадом империи, нашей империи, были им совершенно чужды. Они жили в этом Фрибуре уже три или четыре года, некоторые больше, приехали, как правило, из провинциальных городов, большая часть их была, кажется, из Ростова. Жили прекрасно, ну, распалась империя — и бог с ней. Какая здесь может быть проблема и зацепка для теоретического интереса? Их это не интересовало в принципе. У нас сложились неплохие отношения, они хотели сохранить их и в будущем; но когда у меня была лекция в университете, на лекцию из них не пришел ни один.

— *Тема империи возникла из социального контекста или из развития теоретических концепций?*

— Просто совпали некоторые вещи. В Германии я страшно тосковал по родной речи, бывали недели, когда не с кем словом перемолвиться. Поутру говоришь домохозяйке “доброе утро” и вечером, возвращаясь, можешь сказать ей на лестнице “добрый вечер”. Все. Смотреть только немецкое телевидение невозможно. У меня был приемник, а какое радио лучше всего принимает Германия? Конечно, “Свобода”. “Радио Свобода”, 90-й год — это постоянные передачи о том, что необходимо ликвидировать империю, что империя — главное зло. Империя, империя, империя — навязло в зубах. У меня был некий интерес, связанный с историей социологии, появлением некоторых понятий, и я пытался прояснить их происхождение не только по источникам чисто социологическим, но и по истории политической науки, потому что политическая философия является в значительной своей части идейным источником теоретической социологии. Уходя во все это, я, естественно, наткнулся на проблематику империи (еще, кстати, здесь, в Москве). И так сошлось, что империя появилась в моих теоретических изысканиях и одновременно у нас ее клеймили изо всех сил как то, что надо разрушить. У меня просто началось такое шевеление в мозгах, которое выкристаллизовалось вначале в совершенно абстрактный историко-социологический текст “Социология и космос”, а потом, когда я уже был в Москве, появилась работа “Наблюдатель империи” (1991). Опять совпало несколько интенций: желание показать, какой может быть другая социология — не заимствованная, а своя, но при этом специфическим образом встроенная в связи с имперским характером того государства, в котором мы находимся; желание показать, что само слово, сам термин “империя” не несет в себе ничего негативного, а, наоборот, означает некоторые очень важные вещи. И все это еще наложилось на результаты, полученные при подготовке статьи “Социология и космос”. Вот так появилась большая работа...

— *...на которую бурно реагировали вне нашей научной среды.*

— ...и которая, кстати, сейчас — у меня такое ощущение — в полном забвении. Новое поколение тех, кто пишет сегодня об империи (а пишут многие), практически не знает или не помнит эту и более позднюю мою статью для сборника “Иное” (1995). На них уже никто не ссылается. Можно понять почему: работа была научная, но в тот момент понятая — и нельзя сказать, что совсем уж без оснований — и как некий политический акт, то есть как стремление показать ресурсы империи. Да, в этом была определенная политическая составляющая. У меня возникали большие опасения, связанные с разрушением империи. Частично они подтвердились, частично — нет. Когда прошло время и эта позиция была зафиксирована, я не стал развивать ее дальше. Скажем так: когда-то статья сыграла свою роль и достаточно долго служила важной вехой или маркером меня в научном поле. Не уверен, что это продолжается. Думаю, сейчас она интересна только тем, кому интересен я.

Возможно, здесь стоит упомянуть один очень тонкий момент, что называется, в интересах научной честности. Когда писалась та статья и были выступления на “Эхо Москвы”, я, в частности, говорил, опираясь на Карла Шмитта (это один из моих больших интересов в то время, немецкий политический теоретик, много писал об империи), что так просто все не разрушишь. Имперское пространство не произвольно, оно способно стянуться обратно после того, как будет разрублено. Это происходило в истории уже много раз. И если сейчас произойдет, можно предположить, что все вернется на круги своя. Потом, когда все-таки разрушили (а статья, подчеркиваю, писалась до распада Советского Союза), была сделана попытка перевести все на новый уровень абстракции, то есть рассмотреть это более фундаментальным образом, выстроить более обоснованный категориальный аппарат и, вместе с тем, — поскольку много было еще неопределенного (ну, 1994 год) — воздержаться от конкретных социально-политических оценок и высказываний. Их, собственно, не было и в первой статье, тут же появилось желание проявить еще большую осторожность. Не в смысле боязливости (что мне за это будет?), а в том смысле, что не ясна тенденция и очень сложно фиксировать, куда что идет. В

итоге статья получилась до такой степени осторожной, что людям, интересующимся проблематикой империи, ее теоретическая составляющая без конкретных выводов показалась слишком туманной и абстрактной.

Сейчас, пожалуй, я думаю, что должен был проявить больше веры в свои научные выводы и заключения. О чем я говорил? О том, например, что результат разрушения империй — не демократические государства, а абсолютистские. Частично это было заключение по аналогии, но частично у него была какая-то теоретическая подкладка. И если в 1991 году я писал о таких вещах с достаточной легкостью, то в 95-м уже казалось, что это не так, теория не сработала. Прежде я говорил, что империя может вернуться, стянуться вновь, потому что идея пространства достаточно сильна, сильно стремление к оформлению в большей или меньшей степени в старых устойчивых границах. В 95-м это тоже казалось преувеличением, вроде бы складывается какой-то баланс, при котором вновь образовавшиеся государства держатся в своих границах (бывших административных границах Советского Союза), и если стягивание пространства обратно и произойдет, думал я, то уже не на моем веку. Опять-таки поосторожничал, потому что теперь совершенно очевидно: хотя старый Советский Союз вряд ли возродится, реальное пространство политической власти, скажем президента, превышает административные границы России, те, которые называются государственными границами. Очевидно также, что скорее всего здесь будет некое приращение. Напротив, как раз начиная с 95-го года я более охотно прорабатывал другую тему: о том, что имперская идея, имперские границы, мотивация широких масс в отношении империи — вещи, в общем, достаточно хрупкие, абстрактные и широко приняты быть не могут. Это, скорее, элитная мотивация. Думаю, здесь я не ошибался, в том смысле, что сфера строительства империи — дело элит. Но недооценил инерцию каких-то фоновых имперских представлений.

Иными словами, в моем случае вряд ли можно говорить о даре политического аналитика. Попытка оценить сиюминутную ситуацию еще ни разу мне не удавалась — во всяком случае, настолько, чтобы я сам высоко ценил ре-

зультаты. Думаю, пожалуй, мне нужно было быть более уверенным в долгосрочных прогнозах. И хотя по текстам это, может быть, не так заметно, сам-то я знаю, что метался, не был в себе уверен. Но это теперь все в прошлом.

— *Вы уже никогда не вернетесь к этой теме?*

— Не исключаю, что вернусь. Но, видимо, на каком-то другом этапе. У меня с ней связаны некие проекты, я слежу за нынешними публикациями.

— *Скажите, Александр Фридрихович, а есть у вашего поколения и у вас лично некие представления о будущем — и неизбежном, объективно обусловленном, предопределенном сегодняшним ходом событий, и желаемом, если хотите — идеальном? Как вы вообще относитесь к проблеме социальных идеалов? Согласны ли с довольно распространенным утверждением, что новых социальных идей сейчас вообще нет? Насколько возможна, по вашему мнению, сознательная коррекция социальных процессов и как вы это себе представляете?*

— Я вообще социальными идеалами не занимался и не думаю, что сейчас они есть. Есть, на мой взгляд, другое: попытка прагматичного использования социальных идеалов.

Как-то молодой швейцарский ученый пытался интервьюировать меня относительно коррупции в нашей жизни. Я ему объяснил, что поскольку не вхож в высшие эшелоны власти и не присутствую непосредственно при даче взяток, то не могу сказать, что такой-то — коррупционер. Но я могу сказать другое: если в своей повседневной жизни я постоянно сталкиваюсь с тем, что “не подмажешь — не поедешь”, что коррупция разъела практически все формальные социальные отношения, то у меня нет никаких оснований предполагать, что на каком-то уровне она останавливается и там поселяются одни херувимы. Это заключение по аналогии, никакого другого смысла оно не имеет. То же самое могу сказать и по поводу прагматизма: любое управление, насколько я вижу, осуществляется не на основе идеалов или высших идей, а на основе инструмен-

тального овладения сиюминутными ситуациями, значит, по аналогии, это происходит на всех уровнях. Но если не фиксировать в какой-то момент для тех, кем ты хочешь управлять и кого хочешь мотивировать, наличия неких идеалов, люди становятся плохо управляемыми. Поэтому идеал также принадлежит не к сфере реального целеполагания, а к сфере, где работают механизмы мотивации. Чтобы у кого-то появился мотив, он должен быть ориентирован на некий идеал.

— *Идеал как основа оптимизма...*

— Но самому верить в этот идеал — чрезмерная роскошь. Что же касается новых социальных идей, то я тоже считаю: сейчас в этом смысле один из самых серьезных кризисов.

— *Это касается только России?*

— Нет, не только. В России вообще нет никаких новых идей, это совершенно очевидно. Но вот собирается, скажем, конгресс германоязычных социологов с участием самой Германии, Австрии, Швейцарии. Роскошный зал Фрайбургского университета, солидные господа, какие-то речи, люди обнимаются, зачитывают доклады. Подходишь к книжной стойке — покупать нечего. Скучные тексты с перепеваниями идей, которые были известны 10–15 лет назад. После того как умерли Луман, Бурдье, после того как Хабермас ушел в область философии, а Гидденс — в политику, ничего в общем-то нет, хотя есть неплохие социологи второго плана. Похожая ситуация и в Англии, и во Франции. Наверное, в принципе так случается; возьмите, например, 20–30-е годы минувшего века. Нельзя сказать, что тогда вообще не было крупных социологов, но до 37-го года, когда появилась “Структура социального действия” Парсонса, и в особенности до 50-х годов, когда сформировалась школа структурного функционализма, а одновременно (хотя в тот момент многие этого не замечали) шло интенсивное формирование интеракционизма, складывалась феноменологичес-

кая школа, начала формироваться этнометодология, Ирвинг Гофман приступил к написанию своих основных работ, — до этого нельзя было говорить о каком-либо уровне в социологии.

— *Вы связываете это просто с физическим уходом людей либо и с тем, что то были годы Великой депрессии, возникновения тоталитарных режимов и т. д.?*

— Согласен с такой постановкой вопроса. Социология — наука, у которой есть несколько важных ограничений. Именно социология, которая, естественно, не покрывает всю социальную науку. Но давайте посмотрим, как она возникла. В период между Франко-прусской и Первой мировой войнами. Это первое. Второе: кто были отцы-основатели социологии, труды которых мы сейчас преподаем? Это были люди — и французы, и немцы, и итальянец, и американцы, — которых судьба, жизненные обстоятельства поставили вне возможности каким-либо образом влиять на реальные процессы управления. Это плебейская наука, рождающаяся в ситуации, когда на авансцену выходят массы. И поскольку массы важны, то те, кто говорит о массах и вместе с тем считает, что по-старому управлять нельзя (как, скажем, управляла аристократия или бюрократия предшествующих эпох), они и становятся, собственно говоря, основателями новой науки.

Но вот пример, который я всегда привожу: есть прекрасные исторические, историко-социологические исследования образа жизни английского рабочего класса и нет исследований, посвященных образу жизни английских лордов. Почему? Можете себе представить, что социолог приходит со своей анкетой на порог поместья и говорит: “Я тут хотел бы задать вам 115 важных вопросов. Интервью займет столько-то времени, а теперь сообщите о себе...” Это дичь, причем относящаяся к любому обществу. Был такой случай с нашими социологами, когда они проводили очередное обследование “образа жизни”. Совершенно случайно (что самое интересное — по адресной выборке) они попали на квартиру первого секретаря алмаатинского горкома партии. Самого его не было дома,

жена, послушав вопросы о расходах и доходах, сказала: “Ребята, уходите отсюда быстро”. Тем не менее сообщила об этом визите мужу, и потом, я знаю, были проблемы. И если бы не связи руководителя исследования в ЦК и т. д., думаю, их было бы больше и выводы — серьезнее.

Совершенно ясно, что это все не для социологии. Социологи не знают (и должны ли знать? — профессионально, не лично), как принимаются решения на высшем уровне, не обязательно политическом, но и на высшем уровне менеджмента. Провести опрос среди членов Президентского совета или, скажем, фокус-группу с ними — тут все социологические методы получения информации не работают. Абсолютно. Можно изучать биографии элит, проследить их связи, собирать какую-то побочную информацию (сын такого-то женился на дочке такого-то), но в любом случае, когда социальная ситуация увязана с процессом принятия решений, которые так или иначе вырабатываются в более-менее устойчивых иерархиях, — социологии там нечего делать. Она сжимается: “Ну, мы будем говорить о мнениях”. И говорите о мнениях, но только тогда, когда они имеют хоть какую-то ценность. “В такой-то области 55 процентов рабочих сказали, что будут голосовать за того-то”. Кому это сейчас интересно в России? За кого понадобится, за того и проголосуют. Какие цифры нужны, такие и будут. Подобная информация имеет ценность лишь как элемент общей структуры производства *видимого социального мира*. Вот в этом видимом социальном мире для каких-то целей нужно, например, чтобы были исследования, в которых обследуемые группы делились бы на рабочих, крестьян, интеллигенцию и — в качестве невероятного добавления — еще и на предпринимателей (хотя такой вид социальной структуры ничего не дает). Сейчас у меня на рецензии статья, посвященная России, из одного английского электронного журнала. И там очень четко говорится: в современной России *отказываются основные социологические предсказания*. Иначе говоря, исходя из обычных социологических параметров (пол, возраст, образование, профессия) ничего толком не объяснишь и не предскажешь. Нельзя сказать, что такое положение возникло только сегодня. Я сослался на дан-

ную статью по одной причине: это перешло уже на уровень конкретных исследований.

Считаю, что все-таки в ситуациях, когда большую роль играют (а) массы и (б) массы в более или менее хорошо структурированном обществе, социология с ее традиционным аппаратом очень важна. В ситуации же, когда принимается много иерархических решений или когда размывается традиционная структура — социология отказывает. Нужна какая-то другая либо более широкая социальная наука. Социальный ученый может дать очень интересные описания и объяснения. В конце концов, Макиавелли и Гоббс, Руссо, Суарес, Локк — это все люди, которые писали необыкновенно интересные работы, хотя мы их не относим непосредственно к социологам. Но очень важно, кстати говоря, что все они, кроме Руссо, и большинство других политических философов были прикосновенны к вершинам власти. Они твердо знали, как на самом деле все происходит. Надо писать о том, что знаешь.

Не может быть в современном мире такой ситуации, когда все интересное концентрировалось бы только наверху. Соответственно, не может быть в современном мире такой ситуации, когда социология потеряла бы всякий смысл. Но может быть изменение баланса. Сейчас защищаются просто фантастические диссертации. Давайте исследуем торговлю антиквариатом в Санкт-Петербурге. Ну, давайте, страшно интересно. При чем здесь наука, строго говоря? Приходит социальный ученый, кроме него, никто не сможет дать методически контролируемое и корректное описание определенных процессов в определенной социальной среде. В этом смысле социолог здесь бесценен. Но когда спрашивают: “Есть ли новые идеи в социологии?” — какие могут быть новые идеи у человека, который исследует торговлю антиквариатом или освоение дачных участков. Огромное поле — так называемая социография, о которой говорил Теннис. Социолог со своими понятиями и инструментарием, когда они годятся, будь то опрос, использование статистики или что-то другое, методически контролируемый опыт, эксперимент — все нормально. Только один вопрос: откуда здесь взяться новой идее? Социальная идея рождается из какой-то большой проблемы.

— *Вы хотите сказать, что сейчас нет такого рода проблем?*

— Может, они и есть, но не для социолога с его нынешним теоретическим аппаратом. Социология — западная наука (как и всякая социальная наука). В данном случае это особенно важно подчеркнуть, потому что камни на голову с одинаковой скоростью падают и во Франции, и в Китае, и в Америке, а социальная жизнь устроена совершенно по-разному. Так или иначе социологи всегда принимали состояние западного общества за образец, за некую точку отсчета, даже если оно им чем-то не нравилось. То же можно сказать и о новейших идеях. Ну, скажем, идея глобализации — очередной вариант идеи модернизации: рано или поздно все придут к тому, к чему пришел Запад, придут к единству. Сейчас этого уже никто не говорит, делается вид, будто всегда предполагалось, что глобализация — это наличие во всем мире сходных феноменов. Грубо говоря, если в старом варианте идея глобализации означала, что все начнут болеть за одну лучшую футбольную команду (понятно, я утрирую) и эта команда обязательно должна быть американской, то сейчас под глобализацией понимают то, что в каждом поселке есть своя футбольная команда, каждый болеет за нее и не желает видеть какую-то другую, — но поскольку это явление повсеместное, то оно тоже глобальное. Это гораздо более сомнительное представление о глобализации и уж точно в нем не содержится идея единства.

Думаю, ощущение единства субстанции потеряно социологами, потому что, разумеется, внешне все происходит так же. Вот, скажем, приезжают в Германию миллионы турок. У них другие взгляды на жизнь, другие ценности, мотивы — все другое. Ну и как раньше описывали общество гомогенное, в тех же терминах считают возможным описывать общество гетерогенное, то есть то, в котором есть такие и есть сякие ценности. Но, на мой взгляд, при внешней простоте выхода из ситуации (а почему мы должны отказываться от нашего аппарата?) в таком решении присутствует некоторая недоговоренность. Если взять, например, поздние работы Бека (а последняя, вышедшая у нас —

“Что такое глобализация?”), из них можно узнать как раз о множестве каких-то локальных образований, ниш и прочая, которые образует не столько единство, сколько, скажем так, единство мозаики, единство какой-то фрагментарной картины. Или, например, мой друг Герхард Вагнер, немецкий профессор, заимствует у Делёза и Гватари образ ризомы — такого корня, от которого все время идут какие-то отростки, не обладающие единством традиционного организма, когда все замкнуто в единый цикл, все представляет цепочку взаимосвязанных и отсылающих друг к другу элементов. А в этой ризоме какие-то части отмирают, какие-то, наоборот, разрастаются...

— *Грибница?*

— Нет, грибница как раз единый организм. А здесь — какой-то весь перекрученный, растет сразу во все стороны, совершенно неожиданным образом. Полемизируя с Луманом, который пытался применять теорию систем к обществу, Вагнер обращается именно к этому образу, показывая, что здесь не система, а ризома. Это хорошая аналогия. Но возникает вопрос: какой для этой ризомы пригоден теоретический социологический аппарат? Вагнер написал блестящую книжку “Вызов многообразия”, где говорит, что то невероятное многообразие, которое обнаруживается в современном мире, является вызовом для социологической теории. Вызов-то есть, а ответов я, например, пока не нахожу.

— *А теория постмодернизма?*

— Постмодернизм — определенный способ философского осмысления этого многообразия, скажем так. Социологи частично пытаются его усвоить. Некоторые из них, такие, как английский социолог Скот Лэш, высказывают достаточно тонкое, хотя, может быть, и не бесспорное суждение: с сугубо социологической точки зрения постмодернисты не представляют интереса, но то, что они говорят с точки зрения эстетической, интересно именно для социологов. Примерно так. Вводятся новые понятия —

“креолизация”, “гибридизация”, есть аналог ризомы, есть тот же “вызов многообразия”, есть попытка перевести это в разряд исследования социальных сетей, так называемая ANT — Actor Network Theory (теория “действующий — сети”, здесь нет устоявшегося перевода термина, и мой не очень удачен). Джон Урри, ланкастерский социолог, написал мощную книгу “Sociology beyond Society” (“Социология за пределами общества”). В сущности, о том же: сейчас совсем другая социология. Терборн пытается показать, что социология с ее традиционными ресурсами проиграет, если не будет учитывать, скажем, новейшую экономическую теорию, теорию игр, теорию культуры и т. д. Ощущение того, что нужны новые понятия и новая социология (может быть, для этих понятий), — повсеместное. Но при всем при том нет такой концепции, про которую можно было бы сказать: “Ну, вот!”.

Есть проблема, есть. Нет решения. Вы спрашивали, насколько возможна сознательная коррекция социальных процессов. Мне кажется, я достаточно четко ответил. Да, коррекция, конечно, возможна, только не социолог это делает. А когда он это делает, он — не социолог.

— *В таком случае, Александр Фридрихович, какими вы видите смысл и роль вашей исследовательской деятельности? Каковы та тема, проблема, а возможно, идея, которые вам представляются значимыми сегодня, когда мир пытается разобраться в самом себе?*

— Для меня это социология пространства. Когда я писал статью “Социология и космос”, набрал на переводную книжку социогеографов, которая называлась “Все возможные миры”. Там, в частности, проводилась аналогия между пространством как его понимает физическая теория Эйнштейна (теория относительности) и пространством в понимании современной географии. Сейчас я осознаю, что это достаточно слабая аналогия, достаточно скучная книжка, но в тот момент для меня это было, что называется, ударом молнии, озарившей все вокруг. Я понял: вот оно, вот чем я должен заниматься. Предстоял довольно долгий путь до социологии пространства, не хотелось бы здесь его просле-



живать, не о том сейчас речь. А смыслов до некоторого времени было два. С одной стороны, я считал, что социология пространства нужна потому, что без нее просто невозможна нормальная работа над абстрактной социологической теорией. То есть я увидел, что пространство могло стать одной из тех общих схем, в рамках которой можно было бы объединить и описать всю работу, которую я предполагал, по сведению аппарата социологического знания — разрозненного, иногда никак не сопряженного в пределах одной теории, вместе с тем достаточно ценного. С другой стороны, я занимался проблематикой империи, и социология пространства оказалась для меня одновременно и методологической (для сведения абстрактных понятий) и позитивной задачей (для объяснения империи). А, соответственно, объясняя империю, я считал, что объясняю как бы общее, не систему, а то поле, на котором находится наш социолог — имперский социолог, сознает он это или нет. У него своя перспектива, свое видение, свой социальный опыт, который возникает за счет определенных характеристик, связанных исключительно с местоположением — не просто на карте, а на политической карте, где проведена какая-то граница. Она фактически есть — вот и пограничный столб. Но сегодня он там, завтра — в другом месте. В процессе исторических изменений этот столб кочует самым неожиданным образом. Между тем у рефлексирующего человека есть некое представление о том, где он находится и как это ограничено. Представление “контрфактическое”, то есть фактически границы могут пролегать и где-то в другом месте, но человек все еще говорит о России так, будто десять веков ее истории проходили в одних и тех же границах. Почему это невозможно? Потому что у него определенное видение пространства, и оно присутствует в любой схеме, не только в моей. Значит, социология пространства — выведение всего этого на поверхность, показ реального положения вещей.

Вот такой был замысел. Но с течением времени, по мере того как начитывалась литература, выяснилось, что многое из того, что я считал собственным открытием, уже прописано у современных социальных географов — немецких, английских, американских, в меньшей степени

французских. Я выяснил, что нахожусь в некотором интеллектуальном русле. Как любит говорить Юрий Николаевич Давыдов, “я выяснил, что я не сумасшедший”. С одной стороны, было обидно: я придумал, а оказывается, все уже опубликовано. С другой стороны, если я нахожусь “в русле”, то надо уходить в эту тему глубже. А уходя глубже, я, естественно, практически оставил задачи кодификации, теоретико-методологические и в большей степени занялся задачами позитивными. Меня интересует, каков категориальный аппарат не социологии вообще, не прикладной и не частной, не теории среднего уровня, а именно социологии пространства как варианта общей социологии; интересно, какие она предлагает решения, объяснения и для чего именно, какие ситуации исследует и т. д. В этом смысле при том, что результаты последнего времени, на мой взгляд, содержательнее, амбиции социологии пространства стали намного скромнее. Я не считаю, как считал пять лет назад, что она вообще должна перевернуть всю теоретическую социологию, а поскольку я говорил, что у нас теоретической социологии как устойчивого дискурса нет, то считал, что она должна способствовать появлению такого дискурса в этих категориальных рамках. Больше я так не думаю, просто потому, что практическая работа показывает: позитивные результаты — это результаты, повторю, особой дисциплины, значимые в особом контексте и не значимые для других контекстов, для других дисциплин внутри социологии же.

— *Ведущая ваша тема, стало быть, видоизменилась?*

— Она видоизменилась в том смысле, что передо мной открылись глубины. Я очень давно принялся писать книгу, сейчас ее завершаю и должен поставить здесь точку.

— *И что дальше?*

— Не могу сказать, куда я двинусь дальше в идейном смысле. Структура науки сейчас такова: существует определенное количество фондов, у которых есть свои про-

граммы. Они под эти программы ищут людей, способных достаточно надежным образом их реализовать, так, чтобы деньги фонда для попечителей, руководителей, для общественности не казались выброшенными на ветер, проеденными, растраченными, украденными и т. д. Я сам видел, как очень мощные и очень продуктивные ученые на Западе рвали себе жилы, работая на какие-то фонды по проектам, которые, на мой взгляд, им совершенно чужды. Б. Тёрнер — крупнейший специалист по теоретической социологии, истории социологии, социологии медицины — занялся проблемой гражданства и обследовал какие-то архивы в Шотландии. Что ему это гражданство? Или прекрасный социолог Оукс, специалист по Риккерт, Веберу, Карлу Шмитту, вдруг переключился на американскую идеологию гражданских убежищ времен “холодной войны”. Да, это есть. Вместе с тем у них там жизнь устроена так, что они могут уйти в свободный поиск. Про себя я этого сказать не могу.

Теоретическая деятельность, говорил Аристотель, — это результат досуга. У наших ученых досуга нет, нет и достаточной теоретической деятельности. Есть проект, оприходование каких-то грантов, написание отчетов по ним и т. д. В предисловии к своей последней прижизненной книжке “Общество общества” Луман написал: вот перед вами результат проекта под названием “Теория общества”, длительность проекта 30 лет, расходы — никаких. Как никаких расходов, возмущается уже упомянутый здесь мой коллега Вагнер, а зарплата ординарного профессора немецкого университета это что по-вашему? И я его прекрасно понимаю, потому что действительно немецкий профессор работает много и тяжело, но это “много и тяжело” — совсем другое. Как я помню, Луман (я все-таки знал его когда-то) издевался на семинарах: “Вот проект, три года. Почему-то все эти проекты продолжаются три года?” И так смотрит на всех хитрым глазом. Ну, действительно, разве можно за три года сделать хоть что-то серьезное? А у нас все проекты — на год. За год можно сделать только одно по существу проекта: написать отчет по результатам работы, которую ты делал всю жизнь. Поэтому и по отношению к самому себе у меня надежд особых нет, но и от-

носительно состояния науки вообще у меня мысли, скорее, скорбные.

— *А вы не выделяете кого-либо среди молодых, у которых, надо признать, и подготовка лучше, и есть определенная раскованность, возможности широкого общения и главное — сегодняшняя жизнь это прежде всего их жизнь?*

— В какой-то мере я уже затрагивал этот вопрос. Когда я говорю, что не вижу никого, что процесс формирования научных имен прервался, я прекрасно понимаю, что в известном смысле это звучит несправедливо. Я знаю, что защищаются диссертации, люди читают и пишут книги. У меня у самого — современные студенты и аспиранты. Однако то, что мне приходится читать, чаще всего не вызывает интереса, хотя несколько знакомств последнего времени я рассматриваю как подарок судьбы. Надо сделать исключение. Не хочу называть имен, чтобы не сглазить преждевременными похвалами, но совсем недавно появились молодые дарования очень высокого качества. Что же до общей тенденции, то я склонен к брюзжанию. Не нравится. Предполагаю, что это возрастное. По наблюдениям, немецкому профессору, чтобы стать профессором, приходится предпринять такие усилия, продраться сквозь такое, что, когда он наконец достигает желаемого, характер его портится окончательно, на всю жизнь. Думаю, в известном смысле я уже близок к этому состоянию.

Тем не менее (если убрать юмористическую составляющую, в которой гораздо меньше юмора, чем хотелось бы) могу сказать, что мне конкретно не нравится в работах, которые все-таки читаю. Во-первых, как человек, который старался, хотя и безуспешно, провести идею соединения ресурсов разных концепций в рамках одного теоретического рассуждения, я терпеть не могу текстов, в которых люди, прочитавшие, скажем, только Бурдые, только Лумана или только Гидденса, пишут так, будто это и есть Теория с большой буквы. Это неправильно. У каждой из этих концепций огромные недостатки. И если их создатели обладали большой теоретической продуктивностью и способнос-

тью понимать реальную проблематику, так сказать, за рамками своей концепции, то уже их последователи у нас этим не обладают. Не только молодые и не только сейчас. Это было и раньше. Скажем, когда вошла в моду феноменологическая социология, первый человек, который ввел у нас эту моду, — Ионин, — прекрасно понимал, какая за этим стоит проблематика. Все остальные говорили о смыслах, текстах, интерпретациях, в общем, не понимая, о чем речь. С Ионина все началось, и им все закончилось. Во-вторых, мне не нравится чрезмерное увлечение модной французской философией. Не сама модная французская философия (что-то нравится, что-то нет), и я был бы превратно понят, если бы из этого вывели, будто я против чтения, например, Фуко, Делёза или Бурдьё (Бурдьё я тоже отношу к французской философии в широком смысле этого слова, а не только к французской социологии). Но я считаю, что там сформировался некий стиль, который позволяет забалтывать любую тему: автоматизм текста становится сильнее, чем энергия мысли и рассуждения. Оттого что мы будем писать звучными красивыми фразами, наши рассуждения не станут более убедительными. В этом смысле, думаю, ни для кого из пишущих ныне не является примером Юрий Николаевич Давыдов: он пишет звучно, даже, может быть, чрезмерно звучно, но при этом всегда совершенно отчетлива его мысль, ясно, от чего он шел, к чему пришел, как он это доказал или, по крайней мере, пытался доказать. Когда же, повторю, начинается то, что я называю “автоматизмом письма”, “автоматизмом текста”, — этого нет.

Еще один момент из тех, что я не принимаю в новой волне социальных ученых — их социально-публицистической литературы. На мой взгляд, они отравлены вульгарной версией марксизма — подчеркиваю, не марксизма как такового. Они его “не проходили”, и поэтому для них разоблачительские концепции, основанные на так называемой культуре подозрения, обладают невероятным шармом. Условно говоря: “А вы знаете, что на самом деле за представлением о прекрасном стоит жажда власти... А вы знаете, что на самом деле человек...”. Это Фуко, который на самом деле является Ницше, который на самом деле является Марксом. Все пето-перепето. Очень скучно. Найти что-нибудь и

вскрыть, что там за ним... Если бы это был психоанализ, они бы вскрыли какое-нибудь сублимированное влечение, какое-нибудь либидо. Или депрессию. Или невроз автора. В лучшем случае, для самых продвинутых, — какой-нибудь “архетип”. Если это социологическая или квазисоциологическая литература, они вскрывают властные структуры, либо авторитет, либо собственность, либо что-то еще в этом роде. Ну, какое здесь приращение научного знания!

Прочитую самого себя, ибо именно это мое суждение стали что-то слишком уж часто цитировать другие, редуцируя до одной звучной фразы: “Теория общества — социология — это самоосмысление общества, если воспользоваться старой и, несомненно, гегельянской формулой Х. Фрайера. Я осмеливаюсь утверждать, что теоретической социологии в сегодняшней России нет. Обидным или неожиданным такое утверждение может показаться лишь тем, кто занят анализом чужих либо построением собственных концепций, что само по себе, безусловно, является теоретической деятельностью. Однако теоретическая деятельность не есть теоретическая социология. И ее отсутствие столько же говорит о науке, сколько и о самом обществе”. В одной из недавно вышедших работ, написанных как раз в том духе, который мне противен, я нашел (без указания имени, но с указанием одного из мест публикации) критику этого взгляда. Мне было указано, что есть наука. У науки есть автономия. Автономия предполагает решение научных задач. А я, значит, предлагаю решать задачи не научные, а социальные. Таким образом, возвращаясь к старому посылу советской социологии: наука должна не истину искать, а служить обществу.

Думаю, в определенном смысле мои критики правы. Я разделяю это воззрение с советской социологией. Я разделяю его также и с несветской социологией. Мысль о том, что служить обществу можно на пути поиска истины и что в формуле “социология есть теоретическое самосознание общества” важно каждое слово, видимо, слишком сложна. Точно так же сложна и мысль о том, что автономия науки есть априорное условие научного познания, независимо от того, откуда берется основное целеполагание теоретика. Между тем, хорошо понимая опасность аналогий, я писал о том, что теоретическая социология так же нужна обществу,

как нужна человеку возможность дистанцироваться от течения повседневности и посмотреть на себя как бы со стороны. Продолжая аналогию, скажу: отвлекаясь от течения будней, он может посвятить себя высшей математике или физике. Ему нужна автономия интеллектуальной деятельности. Но, ставя вопрос о смысле жизни, о своем характере, об отношениях с другими людьми и т. д., он — хотя и нуждается в свободе от давления непосредственной необходимости принимать решения, хотя и автономен в области нравственности, если верить Канту, ничуть не менее, чем в области теоретического познания, — все-таки автономен по-другому, не так, как теоретик. То же и с социологией. А баланс актуальности автономии может опасно смещаться от погруженности в повседневные и мнимо актуальные задачи к схоластическим интеллектуальным играм, нужным (если уж вести разговор в духе незримо витающего здесь Бурдьё) только для того, чтобы перетянуть на себя одеяло скудных социальных ресурсов, вступить в борьбу за власть номинации. Зная состояние дисциплины, я не сомневаюсь в успехе представителей обеих крайностей. Так что одни будут ставить псевдопроблемы “чистой науки”, а другие станут размахивать знаменем актуальности и также ставить псевдопроблемы социальной жизни. Теоретического осмысления и самоосмысления общества не предвидится.

— *Общество не осмысливает себя? Живем быстрее, чем мыслим?*

— Общество не нуждается в инстанции теоретической саморефлексии, которая использует ресурс теоретической социологии — ни в смысле понятий, ни в смысле объяснительных схем. Это не значит, что такой инстанции вовсе нет и быть не может. Но то, что есть и что может быть, оказывается и еще окажется, скорее всего, ресурсом иной дисциплины или группы дисциплин. Может быть, и социология еще не сказала у нас не только последнего, но и предпоследнего слова. Но ей придется, боюсь, прибегнуть к маскировке. Некогда она маскировалась у нас под видом литературоведения. Потом пришел черед истории социологии. Впереди еще может оказаться философия.

**В.А. Рыжков**

## Люди не живут без идеалов

— *Вас, Владимир Александрович, не надо представлять ни научной, ни широкой аудитории. Вы, несмотря на еще молодой возраст, уже много лет в политике, при этом в ваших выступлениях и публикациях всегда проявляется не только приверженность исторической науке, но и неподдельный интерес к анализу современной ситуации на исторической основе. Многие сейчас говорят, что мы переживаем критический момент в истории цивилизации. Вы с этим согласны?*

— Конечно, наше время критическое, впрочем, как и все времена. В этом смысле оно уникально только тем, что имеет свои черты, отличающие его от, скажем, довоенной или послевоенной эпохи, и главные из этих черт уже достаточно хорошо проанализированы. Нас, я думаю, прежде всего должно интересовать, насколько сопоставимы тенденции мирового развития и российские реалии. И тут не может не беспокоить, что еще, казалось бы, недавно считалось: Советский Союз — система закрытая, но современная; да, у нас тоталитарный режим, коммунистическая диктатура, но при том по большинству параметров мы современная нация, у нас высокие технологии, космос, информатика, скоростные поезда, крупная промышленность, у нас завидный уровень образования, мощная литература и самое читающее население... Одним из разочарований последних 10–15 лет стало то, что это представление оказалось сильно преувеличенным, причем как со стороны Запада, так и со стороны самой России. В советской реальности были отдельные сегменты современности, но на самом деле доминировало непомерное отставание от стран, ушедших далеко вперед в области технологий, знания,

уровня и качества жизни. Наша экономика вроде бы и пытается преодолеть разрыв, тем не менее он только увеличивается. Наши гуманитарии — политологи, социологи, историки — переводят книги, меняют учебные программы, осваивают какие-то методики, методы, терминологию и т. д., — но где он, наш современный мыслитель?

— *И это не кризис?*

— Нормальное состояние: мы расплачиваемся за XX век. За изоляцию, за плановую экономику, за политическую систему, закрытое общество, идеологизированное образование. В XX веке мы много чего наблюдали в нашей стране, может быть, больше, чем любая другая из великих наций. Теперь платим по счетам, в частности наше поколение.

Возрастающий разрыв между нациями, ушедшими вперед, и теми, которые не могут адаптироваться к ускоряющемуся, глобализирующемуся миру, — одна из важнейших тенденций мирового развития. И очень беспокоящая. Характерно, что бедности как таковой сейчас намного меньше, почти нигде не умирают от голода (что, скажем, 30-40 лет назад было массовым явлением в Африке, в Южной, Юго-Восточной Азии), но чудовищными темпами нарастает разрыв между бедными и богатыми странами. И проблема заключается в том, что очень трудно понять причину этого нарастающего разрыва, трудно объяснить, почему отдельные нации преуспевают в современном мире, а другие безнадежно отстают, почему одни культуры оказываются способными к восприятию высоких технологий, образования, стандартов, типов поведения, другие — нет. И я очень боюсь, что Россия все больше и больше попадает в число тех, кто не успевает, не может конкурировать. При этом, на мой взгляд, важно осознавать, что такого понятия, как “нация в целом” или “страна в целом”, — нет. Есть сегменты. Тут я сослался бы на книгу Харрисона и Хантингтона “Культура имеет значение” — результат их исследования в десятках стран, на протяжении почти десяти лет. Их центральная тема — как раз выявление, скажем, в одной и той же отрасли одной и той же страны как безнадежно отстающих сегментов — по поведению, мотивации, способности к самообразованию, так и тех,

которые легко вписываются в современный мир. И авторы считают: чтобы какую-то нацию, какую-то страну успешно трансформировать, модернизировать, важно уметь найти легко адаптирующиеся, готовые к конкуренции и т. д. индивидуумы и группы, пытаться расширять их число, улучшать состав и опираться именно на эти силы. В России такие люди и группы есть, я могу привести конкретные примеры из практики своего региона — Алтайского края, где родился, вырос и от которого избираюсь в Госдуму.

— *Ну а как с остальными людьми?*

— Вот в том и проблема, и мне кажется — одна из ключевых для России: это косность, в широком смысле слова, традиционное свойство нашей российской культуры.

— *И вы считаете, что косность в частности и российская культурная модель в целом не согласуются с западноевропейской или американской моделями?*

— Вы знаете, что Хантингтона часто представляют как автора концепции конфликта цивилизаций, несовместимости православной, католической, конфуцианской культур и т. д. Сам же он говорит, что это абсурдная постановка вопроса. И я с ним согласен. Когда-то отсталость Азии объясняли конфуцианской культурой, потом, когда “молодые драконы” (Южная Корея, Япония, Тайвань, Малайзия, Тайланд) совершили свой фантастический прорыв, их процветание и успех стали связывать с возможностями именно конфуцианской культуры, конфуцианской трудовой этики. А когда в 1997 году Юго-Восточная Азия рухнула, опять стали объяснять этот крах конфуцианской культурой, которая слишком корпоративистская, слишком общинная, слишком семейная (что и заставляло давать плохие кредиты родственникам и друзьям). Этот пример, на мой взгляд, наглядно иллюстрирует, что такие макропонятия, как конфуцианская или православная культура, ничего не объясняют, потому что внутри той же конфуцианской культуры есть более мелкие сегменты, которые на самом деле дают нам более богатую, разнообразную и гораздо более точную

картину. Есть сомнения и в веберовской схеме: протестантская этика способствует утверждению капитализма, католическая — препятствует. Согласитесь, что к таким, скажем, очень католическим странам, как Италия и Испания, это вряд ли применимо. В Италии одна из крупнейших экономик мира, по своему техническому, предпринимательскому уровню она соответствует самым высоким стандартам. А Испания после смерти Франко демонстрирует просто чудеса. За последние 20 лет — это самая успешная страна Европы с точки зрения перехода от полузакрытой экономики к открытой, от авторитарного режима к гражданскому обществу и т. д.

Так что, суммируя, можно сказать: серьезнейшая проблема современного мира заключается в том, что жизнь ускоряется невероятно, феноменально, и это еще больше сегментирует общества и страны. Кто-то успевает, кто-то не успевает, причем внутри успевающих стран есть миллионы людей, которым трудно адаптироваться. Откуда взялось нынешнее антиглобалистское движение? Это движение тех, кто не успевает, — ведь оно зародилось в самых развитых странах, это часть их общества, ее протест против нового мира. И в такого рода процессах Россия, как мне кажется, еще до конца не раскрылась. Она еще полуспит-полупроснулась.

У нас некоторые специалисты уже говорят о том, что традиционные конфликты 90-х годов минувшего века, к которым мы привыкли (коммунисты и демократы, реформаторы и консерваторы), возможно, в “десятые” годы этого века сменятся какими-то другими противостояниями. Скажем, работодателей и работников, труда и капитала, большого города и малого города.

— *Это вы рассматриваете как новые конфликты?*

— По отношению к 90-м годам. Я говорю о том, что сейчас, по мере того как мы удаляемся от советского и накапливаем новый социальный опыт, будет в принципе меняться “общественная повестка”, и разлом пойдет как раз по тем группам, которые “успевают” и “не успевают”.

— *А успевают и не успевают — куда?*

— Идти в ногу с этим веком, с новым временем.

— *С Европой?*

— Не обязательно с Европой. Можно сказать — с Японией. С современным миром, который требует от вас знания английского языка, например того, что такое e-mail, SMS, требует, чтобы вы много читали и всю жизнь учились, чтобы вы были готовы оставить эту квартиру и этот город и уехать в другой, где вас ждет конкретная работа или контракт, чтобы вы искали грант, писали бесконечные проекты (что вы наверняка сейчас уже и делаете).

— *Вы, конечно, имеете в виду прежде всего свое поколение, которое разочаровалось, вдруг обнаружив, насколько несовременна Россия, которое “платит по счетам” за деяния предшественников. И спешит, спешит... А действительно — во имя чего, Владимир Александрович? Чтобы выжить, не сойти с орбиты несущегося современного мира или как-то иначе устроить этот мир, полагаясь на свои возрастающие возможности или на новые идеи? Согласитесь, что у тех же “шестидесятников”, о которых многие сейчас отзываются крайне скептически, было нечто за душой. К чему-то стремились, чего-то добились, но многое оказалось иллюзией. В итоге — глубокий пессимизм, время ушло (а вы говорите, что вы расплачивается). Теперь ваше время. С какой долей оптимизма или пессимизма вы его рассматриваете? И что за душой у вас, у вашего поколения?*

— У меня диаметрально противоположный взгляд — я глубокий оптимист. Я считаю, что на самом деле сейчас, пожалуй, вторая счастливая эпоха в истории нашего народа и нашей страны. Первая была с 1861 по 1917 год, потому что пореформенная Россия, Россия Александра II — это действительно критическое время: огромный прорыв к свободе, праву, гласности, местному самоуправлению, то есть прорыв к гражданскому обществу, о чем прежде и говорить было невозможно. Россия шла очень мощно. Более

того, при Александре III произошли колоссальные перемены в экономике. То, что делал Витте в экономической сфере, — это огромный успех. Потом новый прорыв — и мы получили первую в нашей стране конституцию, многопартийность, первый парламент, появились профсоюзы — в результате стечения ряда обстоятельств, которые нам хорошо известны.

И вот два последних неполных десятилетия уже нашего времени — они уникальны. Это вторая в российской истории демократия за тысячу лет. Первая просуществовала всего 12 лет (с 1905 по 1917 год) как система с элементами политической демократии. Вторая исчисляется у нас с 1989 года. Вот практически четверть века за десять веков истории. Что мы видим? При распаде империи мы, в общем-то, обошлись без большой крови — в отличие, скажем, от Югославии. Мы, как это ни странно, все-таки довольно неплохо смогли разделить государственную собственность — в том смысле, что через 10 лет большая ее часть управляется достаточно эффективно, по крайней мере по российским меркам. По-крупному приватизация дала положительный результат (хотя думаю, что 99 процентов из тех, кто услышал бы это, бросил бы в меня увесистые камни). Конечно, в ряду тех 160 стран, которые формально являются демократиями, мы в лучшем случае в середине — с точки зрения качества нашей демократии. Не просто как системы выборов, а как системы, где контроль за властью осуществляет сильное гражданское общество. Лучше, чем казахская демократия, но хуже, чем болгарская, лучше, чем белорусская, но хуже, чем польская. Мы находимся среди отстающих восточноевропейских демократий, но это огромный шаг вперед по сравнению с советской тоталитарной системой. Более того, это огромный шаг и по сравнению с николаевской конституцией.

— *Что-то мы все время сравниваем себя с николаевской Россией.*

— А больше не с чем. Если начнем сравнивать себя с современным постиндустриальным миром, то мало что поймем, на мой взгляд, поскольку слишком велик разрыв.

И сравнивать нас, скажем, с Францией, имея русскую историю и французскую историю, невозможно: у нас не было III, IV, V республик. А если вернуться к сравнению с николаевской Россией (я имею в виду Николая II), то можно сказать, что наш нынешний институт парламентаризма мощнее (при всей своей слабости), чем был тогда; наш политический класс больше готов к компромиссам, что очень важно; есть еще много других обстоятельств, и может быть, главное — мы не ведем мировую войну, и это гарантирует от новой большевистской революции, распада страны и т. д. Есть шанс, что все-таки мы будем двигаться вперед. Мне понятен пессимизм “шестидесятников”. Это талантливые, сильные люди, с очень ясной системой ценностей, гуманистической в своей основе, и, конечно, им тяжело сознавать, что их огромные ожидания, усилия, их очень трудная и сложная жизнь на самом деле не привели к реализации их идеалов.

— *Это не значит, что с ними уходит и сам идеал?*

— Ну, так не бывает. Люди не живут без идеалов. Дизраэли говорил: “Нациями движет воображение”. Могут на какой-то период победить цинизм и прагматизм. Но только на очень короткий период — три, пять лет, когда в обществе, кажется, утверждается мнение: никакой идеологии, никаких новых идей, вот я, моя семья, мой огород — слава богу, мы дожили до того, чтобы заняться только собой, своим частным миром. Но это приводит к тому, что человек на дорогом “мерседесе” едет по улице и бесконечно объезжает ямы, колдобины и коррумпированных “гаишников”. Невозможно создать рай в своей семье, если вокруг воровство, цинизм, коррупция. И человек задается вопросом: я-то, в принципе, в порядке, а почему же вокруг такое, мягко скажем, неблагополучие?

Нет, люди не могут жить без идеала. Вот сейчас, вы видите, все ударились в православие, так что оно аж бьет из всех телеэкранов — храмы, храмы, кресты, купола, маковки, ладаны, свечечки, все курится, патриарх докладывает президенту в прямом эфире, что Иисус воскрес... Кстати, это тоже одна из российских традиций: симфония Власти

и Церкви (вместо их конкуренции, что в западной традиции). Экзальтированный патриотизм сейчас в моде. Все начали креститься, поститься, чаще всего даже не вникая в суть этой символики. Но и такая мода говорит о том, что идет какой-то поиск идеала. В общем-то хорошо и важно, если он идет и в сфере религии, но настоящее стабильное гражданское общество строится, конечно, вне религии, принципиально. Оно должно базироваться на определенных светских ценностях, как принято говорить, на ценностях предпоследнего порядка.

Мой идеал — современная европейская Россия, которая интегрирована в мир, которая открыта, терпима. Я не верю в предопределенность, что мы — православная цивилизация, взявшая от Византии ее внешнее величие и внутреннюю гнилость, поэтому обречены быть пьяными, бедными и отсталыми. Вся история опровергает эти измышления. Да вот даже одна и та же цивилизация: Китай при Мао-Цзэдуне и Тайвань. Или Сингапур. Один и тот же народ, те же самые китайцы. И что это доказывает? Ничего, что говорило бы о предопределенности народной судьбы. Поэтому на самом деле все зависит от тех, кто сейчас живет, действует, движется...

Хочу отметить, что я высоко ценю Горбачева и Ельцина (тоже сейчас непопулярная точка зрения). Это два великих исторических персонажа, история еще воздаст им должное, ибо после их 15 лет возврат России к тоталитаризму принципиально невозможен. Люди, сформировавшиеся в те годы, органически чужды тоталитаризму.

— *А вам не кажется, Владимир Александрович, что вы несколько идеализируете самого человека? Ведь многие, в том числе, а может, и прежде всего, молодые связывают свой идеал как раз с авторитаризмом, насильем.*

— Это не так. И в самом молодом поколении — 15–16-летних — вы найдете любые типажи. Опять-таки нельзя говорить вообще о России, вообще о молодых.

— *Вы различаете социальные миры новых поколений?*

— Конечно. Я, например, безусловно из поколения перестройки, которая в наибольшей степени повлияла на мою общественную, политическую и личную философию. Когда Горбачева избрали генсеком, я был студентом второго курса истфака Алтайского госуниверситета. Интересовался политикой, много читал, был общественно-активный. Боролся с размещением “першингов” в Западной Европе, за мир во всем мире. Типичный советский молодой человек. Но серьезный прорыв, действительно революция в мозгах, катарсис связаны были с Горбачевым, полным пересмотром истории. Потом появился Ельцин, статьи Гавриила Попова в “Огоньке”... Фактически мое мировоззрение сложилось с 1985 по 1990 год.

Поколение 90-х годов, для которых прорывом стала приватизация, на мой взгляд, циничнее: оно гораздо в большей мере ориентировано на жизненные блага, дачи, машины, серфинг, горнолыжные курорты. В период нашего формирования еще не было бизнеса, частной собственности. Время чистых идеалов. Сохранялось советское общежитие: все мы жили в нашей стране, в панельных домах, ездили на троллейбусах, покупали молоко в треугольных пакетах; революция в мозгах уже произошла, а денег практически не было. Следующее же поколение сформировалось в следующие пять лет, когда уже появилась собственность, когда на передний план вышли совсем другие вещи. По приверженности каким-то ценностям, по приоритетам я все-таки ближе к “шестидесятникам”, для меня идеальный мир важнее, чем материальный. А вот для тех, кому сейчас 25–30, по всей видимости, материальное важнее (это моя гипотеза, она требует проверки).

— *А если обратиться к поколению, которое перед вашим, кому сейчас за сорок?*

— Оно, как мне кажется, в большей степени воспроизводит брежневские модели поведения. Это, скажем, те, кто тогда еще не успел стать партийным функционером, но уже был высокопоставленным работником в обкоме, горкоме комсомола. У них есть корпоративная солидарность, и они каждый год в своей компании отмечают День



комсомола. Как правило, они сейчас успешные банкиры, бизнесмены, их довольно много в органах власти. Сориентированы на карьеру, на материальный достаток. И очень лояльны власти, никогда не пойдут против системы. Лояльность — их безусловная ценность. Они достаточно прагматичны, с душком цинизма, но не абсолютные циники. Для них большое значение имеет профессиональная состоятельность. Достигнув определенного уровня, не хотят падать вниз, но и не пойдут на серьезный риск, чтобы выйти на следующий уровень. Вот “молодые волки” в гораздо большей степени готовы рисковать, сутками “пахать”, спя в самолетах, идти на захват, экспансию и т. п. Сорокалетние так не могут, у них совершенно другая трудовая этика. Такие советские, успешные, лояльные приспособленцы.

— *И как, на ваш взгляд, Владимир Александрович, взаимосвязаны этот человеческий потенциал и, прямо скажем, пока неутешительные итоги реформирования России?*

— Я все-таки и в этом отношении оптимистичен, хотя, конечно, ситуация тяжелая. Настораживают и беспокоят не только нарождающиеся негативные тенденции, но и то, с чем мы давно знакомы. Страна во многом остается изолированной (это мы видим на конкретных примерах). Катастрофически не хватает людей с современным образованием, притом у нас огромное чувство самодовольства, мы по-прежнему внутренне считаем себя великими.

— *А какие у вас, у вашего поколения на то основания?*

— А что? — все хорошо. Сейчас ведь молодые доминируют в бизнесе, начинают доминировать в политике. Мое поколение, посмотрите — оно всюду. Возьмите лист высшего менеджмента, сто крупнейших компаний России — это все мое поколение. Люди ворочают миллиардами, становятся губернаторами, среди вице-губернаторов уже сотни моих ровесников — почему же не быть довольными со-

бой? Но при том фундаментально-то Россия остается страной несвоевременной. Но это не осознается моим поколением. Вот в чем проблема. Я как оптимист считаю, что все-таки ситуация заставит нас стремиться к большей конкурентоспособности; просто даже в поиске более высоких заработков, доходов люди начнут получать хорошее образование. Такая потребность уже есть. Сейчас в московских крупных фирмах большой спрос на людей с английскими и американскими дипломами МВА, потому что они на голову выше наших доморощенных менеджеров — принципиально другие методы, методики, подходы к пониманию бизнеса, да и самой жизни.

Рынок требует прорыва, но Россия движется очень медленно. И по причинам не только экономическим. Приведу пример. Лет пять уже я участвую в Давосских форумах как эксперт и могу сказать, что Россия там практически не представлена интеллектуально. Мы видим в Давосе огромное количество индусов — бизнесменов, политологов, культурологов, физиков, математиков. В последние годы там большое число китайцев, не говоря о японцах. Есть аргентинцы, испанцы. И нет русских. Российская интеллектуальная жизнь все больше и больше отстает, отрывается от мировых тенденций. Замыкаемся в себе, обсуждаем какие-то свои вопросы, пережевываем старые проблемы, но не включаемся в глобальный контекст. Наша наука мало включена сейчас в глобальный контекст, наши эксперты не котируются. Включенных, ну, может быть, человек сто на всю страну, очень мало. Это проблема людей. И общества. У нас самодовольное общество, которое как раз считает, что мы самодостаточная православная цивилизация. На деле же нет установки на интеграцию. Нет установки на интеграцию в нас самих. Нам комфортнее здесь, у себя. Мы конкурируем между собой, с другими не хотим, нам это сложно. А кто хочет конкурировать, тот уезжает, порывает связи с Россией, живет там и пишет там. Никогда ведь не наблюдалось такого сильного разрыва. До советского времени наша элита была достаточно хорошо интегрирована. Петр Струве писал в германские газеты, в научные журналы, и это было нормой. Таких людей и тогда, правда, насчитывалось не так уж много. Но сейчас их почти нет.

У моих знакомых есть попугайчик; сидит в клетке, дверца открыта, а он не выходит. Ему хорошо там. Висит колокольчик, висит зеркальце — и он сутки проводит, шастая по маршруту от колокольчика к зеркальцу. И еще к кормушке. Посмотрится в зеркальце, дернет колокольчик, поест, попьет, поспит.

— Он наверняка уже взрослый, даже пожилой. Поколение “шестидесятников”, так сказать. А когда он молод, то рвется из этой клетки, вылетает из нее при первой возможности, бьется об оконные стекла, пожирает книги на полках, и ни за что его не загнать назад, в клетку. Когда же он потихоньку стареет, все эти книжные полки ему уже не интересны, в клетке привычнее, спокойнее. Но вы-то молоды...

— А ведем себя, как этот пожилой попугай. Нас вполне устраивают зеркало и колокольчик. И совсем не хочется вылетать. Вот раньше клетка была закрыта и попугай мог бы сказать: “Ах, как бы я полетал, показал, что не хуже других”.

— Вам не напоминает это реальную ситуацию, 1986-1989 годов, когда у тех же обществоведов появилась возможность открыто сказать то, что прежде говорилось “на кухне”, опубликовать то, что писалось “в стол”? Сказали, вынули, опубликовали. Хватило на 2-3 года. Все. Дальше пошли по кругу. Хороший социолог Нина Федоровна Наумова (к сожалению, уже ушедшая из жизни) говорила тогда: началась перестройка, время действий, но оказалось, что мы не знаем своего общества, мы его не описали; слов было много, а вот просто заняться изучением, описанием, чтобы знать, с чем имеем дело, — нет...

— Действительно, казалось, дайте нам свободу, и тут уж мы покажем, на что способны. А в итоге — свободу дали, а летать почти никто не хочет и не может. Сидят на жердочках. В принципе, ведь все довольны. И молодежь тоже, потому что есть пиво “Клинское”.

— Это, видимо, уже юное поколение.

— Да, можно потусоваться, в кино сходить, пивка попить. Жизнь замечательна... Мое поколение сейчас руководит экономикой страны — и тоже все хорошо. Другое дело, как я уже говорил, что у этой экономики незавидный уровень, как и у товаров, услуг, которые мы имеем. Но ведь покупают же- в чем вопрос? В России практически нет High-Tech, который экспортируется. Книги наших авторов издаются на Западе? Почти нет. Мы пишем о своем для своих, восторгаемся в рецензиях, но когда сравниваем, над чем думает мир сейчас и что обсуждаем мы, грустно становится.

— После событий 11 сентября 2001 года в США многие говорили: “Начинается новая эпоха, все подлежит переосмыслению, все начинается с нуля”. Как, по-вашему, те настроения сказались на нашем образе мысли?

— Это стало мощным толчком к анализу. Все как бы заново перечитали старые книжки, и сразу выявились провалы, пустоты. Это и есть Событие с большой буквы, из тех, что провоцируют переоценку ценностей. Много поднялось и легло на то же самое место, а что-то изменилось. Мы серьезно задумались о диалоге культур, об исламе. О том, что новые технологии плохо защищены от террористов, что современные государства неэффективны, требуется сотрудничество между ними. Многие вещи получили новую акцентировку. Изменился сам тип мышления в смысле его глобализации. И в этом отношении можно говорить об 11 сентября как начале новой эпохи.

— Переосмысливается, кажется, и сама идея демократии. Говорится о том, что хваленая европейская демократия дошла до некоего своего предела и требуется уже нечто иное. Вместе с тем довольно распространено утверждение, что новых социальных идей сейчас вообще нет. Ваше мнение?

— То, что мы видим сейчас в Западной Европе, — из области невозможного. Этого не было никогда и нигде в

истории: чтобы различные нации вдруг сняли границы, ввели единую валюту, управлялись демократическим образом; стабильно, процветая, с регулярной сменой власти, не подавляя никакие точки зрения. В Испании есть провинция, где заседают депутаты от трех баскских партий. Спрашиваю: “А какую цель вы перед собой ставите?” — “Выход из испанского государства”. — “То есть, вы за разрушение испанского государства?” — “Да”. — “Вы против конституционного строя?” — “В этом смысле — да”. — “Вас никто не запрещает?” — “Нет”. В стенах парламента заседают люди, которые открыто выступают за развал государства, — и ничего, государство живет. Конечно, в современной Европе свои проблемы, их много. Очень большая угроза — ультраправые течения. Еще одна угроза, о которой говорит Дарендорф: ключевые решения принимаются в институтах, которые не являются демократически избранными. Скажем, Брюссельская европейская комиссия никем не избирается, а она уже на 70 процентов определяет экономическую жизнь европейцев. Или проблема транснациональных корпораций, никому не подчиненных, более того — вообще анонимных. Известная Nokia не является финской компанией, у нее штаб-квартира находится в Хельсинки, а акционеры расплывлены по всему миру; но Nokia — это на 30 процентов больше, чем бюджет Финляндии, и если завтра эта анонимная компания примет решение уйти из Финляндии — рухнет бюджет страны. Тот же МВФ не подчинен никакому демократическому общественному контролю, а может, например, спасти Аргентину или ее погубить. Случаются и кризисные моменты. Но говорить о том, что демократия умерла либо может умереть от старости? Один лишь пример с Ле Пеном в ходе выборов во Франции показал, насколько жизнеспособна современная демократия.

Вот сейчас расширяется Европейский союз; в нем 25 стран, а Жан Монне и Робер Шуман создавали его как союз шести стран. Каким он должен стать теперь? Проблема. И возникает политическая идея: создать Европейский Конвент, где были бы собраны лучшие мозги Европы, и самые умные, опытные, мудрые продумали бы, как Европу шести превратить в Европу двадцати пяти, чтобы она ра-

ботала как одно государство. Интересно? Вот вам новая социальная идея, и она уже реализуется. Появляется еще одна идея — создать евронацию (euonation) и воплотить ее в институтах, Европейском парламенте, интегрировать туда другие культуры.

Это же совершенно новый мир. Как же нет новых социальных идей? Будут новые вызовы — будут новые проблемы — будут новые идеи. И появятся люди с конкретными именами, которые всем этим займутся и, несомненно, войдут в историю. Наверняка, например, Жискара д'Эстен, глава Европейского Конвента, воображение и талант которого помогают “придумывать” Общую Европу, и это будет Европа XXI века.

— *Все прекрасно, кроме того, что в вашем рассказе нет России. Опять ее нет в счастливой сказке.*

— Россия идет в том же направлении. По пути демократии.

— *И этот ее путь еще долог?*

— На самом деле он бесконечен. Демократия вечна. Да, Россия движется достаточно медленно, с довольно большим числом ошибок, провалов и неудач, очень болезненно. Мы легко отказываемся от своих решений, все переделываем, потому это движение еще и хаотическое. Но в правильном направлении. Надеюсь, к году 2050-му Россия станет развитой крупной европейской страной, во всех отношениях — экономическом, культурном, технологическом. И надеюсь, она выживет как единая страна.

— *Что есть сейчас в России такого, что дает вам основания для этих надежд?*

— Два главных основания. Первое: мы перепробовали уже все самые ужасные пути, мы их отбраковали. Остается не так уж много вариантов. И мы, на мой взгляд, избрали наиболее правильный — пытаемся строить открытое общество, открытую экономику, интегрироваться в миро-

вые глобальные институты, модернизироваться. И второе основание: если мы хотим просто выжить как народ, то должны стать современными. Иначе говоря, сама жизнь заставляет делать для этого все необходимое. К тому же географически мы расположены так, что с Запада и Востока наши соседи идут именно этим путем. У нас нет других примеров.

— *Некоторые склонны связывать успех движения и с таким основанием, как уход старших поколений, которые якобы сдерживают его уже в силу своего менталитета, своей идеологической настроенности. Вот когда действительно хозяевами жизни станут новые силы...*

— С моей точки зрения, это очень примитивизирует наше общество. И в моем поколении есть люди (их по-прежнему большинство), которые воспроизводят тот же культурный тип: общественная апатия, абсентеизм, патернализм, ненависть к начальству и одновременно рабская покорность, нежелание что-то менять. А в старших поколениях я нахожу близких мне по взглядам. Немало примеров, когда современные люди разных поколений делают общее дело, чтобы изменить страну. И это межпоколенческое сотрудничество гораздо важнее, чем сидеть и надеяться, что вот эти уйдут, а эти придут и будет другая страна. Та же самая будет страна, а может, и хуже. Надежда на смену поколений, на мой взгляд, не имеет серьезных обоснований. Я бы сказал так: проще, конечно, изменить сознание тех, кому сейчас 30, чем тех, кому 60. Но это потенциал. Далеко не факт, что он будет реализован. Ясно, что новые силы не согласятся со сталинизмом в новой форме. Но далеко не ясно, что это поколение создаст новую Россию — процветающую, конкурентоспособную. Это не аксиома. Это теорема, которую еще предстоит доказать.

Все не так однозначно. Возьмите, например, Германию. Раньше, во времена “железного занавеса”, там была в ходу формула: “Один народ, две страны”. Теперь новая формула: “Одна страна, два народа”. Ведь восточные немцы как были “советскими” по своему мышлению, так и остались. Психологический, культурный разрыв пытались ликвидировать,

завозя тысячи людей — учителей, судей, юристов — с Запада на Восток, уравнивая возможности получения работы, повышения зарплаты. Сейчас депутаты в земельных ландтагах на Востоке получают столько же, сколько и депутаты в Баварии. И что изменилось? Они купили и построили себе дома — дорогие, большие. А разрыв не сокращается. И там думали, что “гэдээровские старики” уйдут, а уже их дети будут западными немцами. Сколько лет прошло, а дети такие же, только еще более отчужденные, озлобленные, растут неонацистские настроения.

— *А на что надеетесь в этом связанном с человеком отношении вы? Отыскивать, как говорили вначале, отдельных людей и отдельные группы, расширять их число?*

— Так всегда и было. Как менялись общества? Та же немецкая нация после войны была в полной фрустрации. Как ее удалось собрать? Нашлись тысяча, две тысячи человек, сам Аденауэр, сыгравший колоссальную роль, Эрхард. Япония в 1945 году: тысяча молодых офицеров нашли в себе силы изменить всю страну. Такая возможность не закрыта никогда. Это то, во что я верю. Думаю, я один из тех, кто пытается что-то изменить и у нас, в той мере, в какой хватает понимания и сил.

— *Вы говорите о сознательной коррекции социальных процессов? Насколько она возможна? Не могли бы вы в этой связи несколько подробнее рассказать о собственной политической, общественной, научной деятельности? Какие темы, проблемы, идеи выдвигаются для вас на первый план?*

— Первая объемная тема, которая интересует меня как историка и политика, — это судьба гражданского общества и его институтов. Когда они встанут на ноги, только тогда можно будет решать задачи создания у нас современной демократии — не по названию, а по существу. Непосредственно с ней связана и другая тема — политическая система, которая либо способствует утверждению гражданского общества, либо подавляет его развитие. Консти-

туционный дизайн в очень большой степени предопределяет общественное развитие. Возьмите, например, наше общество и болгарское. Десять-пятнадцать лет назад, на стартовой позиции они мало отличались, мы были почти обществами-близнецами. Сейчас же в Болгарии гораздо более устойчивая и качественная демократия, и одной из причин является то, что они избрали для себя модель парламентской республики, которая стимулировала быстрое создание многопартийной системы, сильную роль парламента. Левые меняли правых, правые — левых (за 90-е годы трижды), благодаря чему возникла политическая интрига, позволившая утвердить демократическую политику. У нас был избран другой конституционный дизайн — суперпрезидентской республики, фактически выборной монархии, — в результате с 1991 года у власти находится одна и та же анонимная группа, которая никак не идентифицируется идеологически (кроме общего расплывчатого понятия “реформаторы”), и при существующей конституционной конфигурации даже не понятно, как она может быть кем-то заменена.

В рамках темы “политическая система” я все эти годы занимаюсь проблемой федерализма, потому что в России он имеет самостоятельное значение. Я, пожалуй, согласен с Джеффри Хоскингом, который считает, что мы не сложились еще как нация гражданская, светская, как сообщество граждан, которые имеют какую-то идентичность. И в этом смысле мы остаемся постимперским государством с большой внутренней угрозой распада. Высказывается и такая точка зрения: внутри России есть порядка 20 протонаций, которые при определенном стечении обстоятельств могут поднять знамена национально-освободительного движения и взорвать страну изнутри.

Именно национальная идентичность на первом плане. Религиозная, несмотря на всплеск интереса к православию, — все-таки на периферии (это фиксируют и социологи). Потому федерализм важен — для меня в том числе — не только как система взаимоотношений центра и регионов, а как средство, гарантия сохранения единой России. Федерация — наиболее мягкая модель, позволяющая до поры до времени сдерживать националистические амби-

ции. Попытка выстроить жесткую систему власти у нас приведет к росту националистической оппозиции и к опасности распада страны.

Вот то, что меня интересует, если коротко: судьба демократии в России, история гражданского общества, становление гражданского общества, политическая система. Я много пишу на эти темы, много выступаю. И уже как политик, естественно, стараюсь свои взгляды и убеждения проводить в жизнь, по мере тех сил и возможностей, которые возникают.

Очень много времени и внимания уделяю проектам просвещенческим, образовательным. Все эти годы участвую в работе Московской школы политических исследований, через которую уже прошло свыше пяти тысяч представителей молодой российской и прежде всего региональной элиты. Задача, которую мы перед собой ставим, — стимулировать у них мотивацию к собственному совершенствованию, изменению моделей поведения, разрушать стереотипы. Не могу сказать, насколько мы в этом преуспели, но надеюсь, что хотя бы один процент из этих пяти тысяч действительно вошел в современный мир и озаботился его проблемами. Это то, что для нас так важно. У себя в избирательном округе я создал Школу молодого гражданина, она существует уже три года. В своей думской работе стараюсь выдвигать и поддерживать те законодательные инициативы, которые фундаментально способствуют (или крупные идеи, которые могли бы способствовать) утверждению местного самоуправления, многопартийности, свободы слова и т. д. Смысл и роль своей многообразной работы вижу в том, чтобы делать все, что могу сделать в нашей ситуации — когда преобладают традиционная культура и традиционные модели поведения.

— *При том, что говорят: политика — “грязное дело”.*

— Это расхожая фраза. Что, Махатма Ганди был “грязным политиком”? Или тот же Черчилль делал “грязную политику”? Любой серьезный политик — это человек убеждений и идеалов, и только такие люди что-то меняют в этом мире. Другой вопрос, что политика имеет дело с

деньгами, репрессивным аппаратом, конкурентной борьбой. И там, где область идеалов сталкивается с прозой жизни, конечно, могут возникать всякого рода деликатные сюжеты. Но все сводить к ним было бы глупо.

— *И все же, Владимир Александрович, остается вопрос: многого ли в наше время можно достичь личным примером, просвещенческой деятельностью?*

— Я приведу в ответ пример из жизни своего Алтая. У нас долго не было университета и даже просто чего-либо солидного в области гуманитарного образования. И вот приезжает Брежнев вручать краю орден за рекордный урожай. Вручает, а первый секретарь крайкома Георгиев говорит: “Леонид Ильич, вы нам орден даете за урожай, а дайте нам университет”. Дали, как это ни странно. И тогда Георгиев сделал два важных дела: в только что построенное, роскошное здание с конгресс-центром, столовыми, предназначавшееся горкому партии, вселил университет; и второе — выделил сто квартир в центре города в хороших домах для молодых доцентов из двух лучших сибирских университетов. Из Томска, из императорского университета, где великая библиотека и глубокие традиции, и Новосибирска, где сосредоточен был цвет науки, приехали на Алтай, в этот аграрный край с невероятно косным, застойным обществом, 30-летние кандидаты наук, талантливые историки, социологи, экономисты, математики, химики, физики, журналисты и создали замечательный университет, который сегодня, на мой взгляд, один из лучших за Уралом. А истфак был просто фантастический. Та школа, к которой я принадлежу через Седельникова-Могильницкого-Данилова-Неусыхина-Косминского, восходит к Герье, к Московскому университету 60-х годов XIX века. Это непрерывная научная школа, существующая до сих пор в Томске со своим ответвлением на Алтае. Появление университета изменило регион кардинально. Его выпускники сейчас доминируют в органах власти, бизнесе, науке, газетах и, собственно, определяют развитие края.

Это к вопросу о том, как можно изменить страну: открывайте такие университеты. В том же 1973 году появил-

ся университет в Кемерово. Руководство Кузбасса палец о палец не ударило, чтобы привлечь талантливых молодых ученых. И все — пустое место... Люди все решают. Есть пять-десять современных специалистов на факультете, которые могут изменить регион. Что они сделают за пять лет со своими студентами — такой и будет народ. Преподаватель — в университете. Предприниматель — на своем предприятии. Вы — в своем институте.

— *Теория конкретных дел?*

— Плюс высокая миссия просвещения.

## С.Г. Недорослев Высвобождение инновационной энергии — ключевой момент

— *Позвольте, Сергей Георгиевич, сначала задать вам вопрос, так сказать, из прошлого века — о “физиках” и “лириках”. Вы только родились, а он уже был предметом споров, сюжетом для фильмов, и главное — в реальной жизни “физики” серьезно обсуждали общественно-ведческую тематику, выдвигая различного рода социальные проекты и идеи. Вам — физику по образованию, ставшему крупным бизнесменом, — сегодня это интересно?*

— Я действительно из “физиков”: учился в физико-математической школе в Барнауле, там же окончил физический факультет университета, отстраивал кафедру радиофизики, занимаясь научной работой, и, отслужив, так сказать, родному университету, поступил в аспирантуру Института электронной техники в Зеленограде. Специальность — приборы на основе полупроводников, в общем, специфическая тема. Шел, что называется, по вехам: Московская олимпиада 1980 года (поступил в университет), Пленум ЦК КПСС 1985 года (окончил университет), в 1987 году (тоже достаточно знаменательном по развитию ситуации) из аспирантуры был призван перестройкой в частный бизнес, который создал со своими же товарищами, людьми технического образования, и который развился потом в группу компаний “Каскол”. Президентом ее я сейчас и являюсь.

Почему физика? Она вообще изучает, как устроен мир. А если вы знаете, как устроен мир — нас уверяли, что мы будем это знать, когда всё выучим, — то различные его проявления и прочие частности уже не будут важны. Со-

циальные проекты, идеи... Но это шутка, конечно. А если серьезно, возьмите книжку с простым названием “Курс квантовой механики”, и вы обнаружите, что представление о физике как о мире конкретных знаний отойдет в прошлое, поскольку постигнуть квантовую механику невозможно, не обладая абстрактным мышлением, не обладая воображением, всем тем, чем должны быть наделены лирики, по нашим убеждениям. Я уже не говорю о том, что многие законы физики, как, скажем, второй закон термодинамики, основополагающие и объясняют серьезные явления, которые происходят не только с материальными телами (с шарами при столкновениях), но и в обществе, в природе. Ведь неспроста, наверное, даже в советское время у нас был очень сильный и популярный среди физиков семинар по философии, где всегда искали связь между вторым законом термодинамики и социальными процессами. База, конечно, все-таки на этом построена. Я понимаю, в Швейцарии есть порядок в том смысле, в каком представляют это швейцарцы. Но если навести его на Руси в этой системе, то другой мир просто взорвется, поскольку возрастет энтропия. И это второй фундаментальный закон термодинамики. Иначе говоря, если вы где-то наводите порядок, то обязательно где-то должен возникать беспорядок. Потому не стремитесь навести порядок на больших территориях — неизвестно, чем это кончится. Система должна быть подвижной, нежесткой, жесткая может существовать на очень ограниченном пространстве — как по объему, так и по времени.

Это интересная тема, на которую можно рассуждать бесконечно. Потому я и говорю, что физика — вообще интересно. У меня четверо детей, и я хотел бы, чтобы все они прежде всего изучали физику, потом — экономику как второе образование. Хорошо, если удастся заложить фундамент естественными науками, а дальше уже можно познавать поэзию, рифмы и все остальное. Сначала надо структурировать мозги, потом они примут и прочее. И все встанет на свои места. Если у вас есть талант — и стихи будете писать, и на пианино играть. К сожалению, чтобы поизучать физику, нужно много времени, лет шесть-семь. А сейчас время предельно сжимается. Вот и Лихачев гово-

рил, что невозможно использовать опыт своих родителей. Сегодня уже невозможно использовать собственный опыт, и это ключевой момент в развитии цивилизации. Это его разрыв. Потому в нашем бизнесе (как принято говорить), в том, чем мы занимаемся, вы должны весь день работать, а всю ночь учиться, поскольку утром, когда вы придете в тот же кабинет, что-то уже изменится: где-то, например в Штатах, Японии, в этот момент не спали, работали. Ночью нужно учиться, а днем работать. Чтобы успевать.

— *А жить когда?*

— Это и есть жизнь. А что значит жить? Только люди, наделенные глубокими внутренними комплексами — это уже психиатрия, у меня, кстати, мама психиатр, — способны разделять: здесь я живу, здесь работаю, а здесь еще что-то делаю. Так не бывает. Вы не живете, когда работаете? Люди жили и в концлагерях, в аду, но жили. Правильно? Ну, можно, конечно, засаливать помидоры в банках — это вы считаете жизнью?

— *Но четверо детей — их же надо видеть, общаться с ними...*

— И я вижу, и общаюсь. Может быть, реже, чем среднестатистический папа. Но почему вы считаете, что главный критерий духовной общности — насколько часто мы видимся? Можно ведь видеться целыми сутками и быть далекими. Я понимаю, что в массовом сознании все это, наверное, коррелирует именно с тем, “часто или редко”. Однако не обязательно то, что заложено в массовое сознание, безусловно верно. Как правило, наоборот.

— *Вот вы говорите: ночь поспал, а наутро мир уже изменился. Эти стремительные перемены заставляют, видимо, как-то иначе оценивать современные реалии и возможности, строить иные социальные конструкции? Всё настойчивее утверждается: мы живем не просто в новом веке — в другую эпоху, в “быстром” мире, в условиях глобализации.*

— Я думаю, это вопрос терминов, больше лингвистический. Не случилось в истории ни одного такого века, в начале и в конце которого не было бы недостатка в определениях мира. Я убежденный в этом отношении консерватор. И глубина философской мысли пять тысяч лет назад была ничуть не меньше, чем современной. И это понятно, потому что человек как вид не слишком изменился. Морфологически он в принципе не изменился. Следовательно, ability, то есть возможности мыслительных процессов, вообще не изменились. Не сгенерировано ведь никакой новой, особо прорывной идеи. Две тысячи лет назад возникло христианское учение. А что потом? Мир потихонечку меняется, но во многих фундаментальных вещах, в том, что движет прогрессом, перемен почти нет. Прогресс — это вообще функция производная. Ну, есть диктофоны (мы тут с вами сейчас не на бересте пишем). Но вы же понимаете, что принципиально это вообще не важно. Важно для количества информации, которую вы можете усвоить, для удобства ее обработки, но все это технология, мне кажется. Как-то меняет принципиально наши представления о мире Интернет? Да нет, это неправда. Интернет — один из инструментов. Безусловно, мир всегда удивлялся инструментам, возникающим у него на глазах. Каждый век и каждую тысячу лет. Если мы переместимся на триста лет назад и хоть как-то попытаемся проникнуться тем, что было тогда, то с удивлением обнаружим, например, что ввоз арабских скакунов на равнины, где всю жизнь были только тяжеловесные лошади, по влиянию на развитие цивилизации был гораздо глубже, чем Интернет. Когда конные орды монголов стали покрывать расстояния в тысячи километров буквально за считанные дни, вообразите, как это перевернуло представление людей о мире. Все время так происходит, в том числе и сейчас, в том числе и с Интернетом. Для Гейтса и других, кто его создал, это перевернуло мир, что, конечно, важно. Наша жизнь индивидуальна, проживаема лично нами, и все, что с нами происходит, и есть то, что переворачивает мир. Но мы должны понимать, что и тысячу лет назад было так же. Да, появляются приборы на новых физических принципах, которые позволяют нам раздвинуть рамки Вселенной. Но в принципе мы и



раньше жили глобально, понимая, что все мы тут, на плоской планете; потом поняли, что она круглая. Ну и что, собственно, это изменило в нашем сознании? Сейчас можем делать какой-то продукт в подмосковной деревне и продавать его в Африке, за счет того что сокращены расстояния, издержки на перемещение продукта не такие серьезные, как были раньше. Но для человека-то в принципе ничего не изменилось.

— *Мы помним, как 11 сентября 2001 года, после трагедии в США, мир ахнул: “Все рухнуло, начинается новая эра!”*

— Ну, радикализм он во всем радикализм...

— *Вы не считаете, что произошло событие, которое перевернуло представления людей и в чем-то действительно изменило мир?*

— Нет, это не так. Чьи представления конкретно? О чем? Все очень преувеличено, в силу того что невозможно консолидировать и выразить мнение миллионов, и, как правило, выражение этого мнения узурпируется узкими группами людей. Нет уверенности, что технология сбора данных сертифицирована и настроения, мнения отражены верно. Ну, спросите меня, я же был 11 сентября в Вашингтоне, на моих глазах упал самолет и т. д. А что это изменило?

— *В вашем представлении о жизни, о мире...*

— Вообще ничего. Мы нормально два часа простояли в пробке. 14 сентября первым же рейсом я вылетел на заранее назначенную встречу с представителями компании, для которой мы строим самолеты. И мы провели запланированное производственное совещание, естественно, против память погибших...

— *А что-то вообще производило на вас сильное впечатление, влияло на ваши настроения, представления, в конце концов — планы?*

— Об этом я и хочу сказать. Два события накладываются очень серьезно в жизни любого человека (не знаю, как это происходит, пусть будет линейно). Давайте рисовать. Здесь, по оси абсцисс, будем откладывать возраст, а здесь — какие-то представления человека, вернее, это функция от его изменения. Вот вам пять лет стукнуло, да? Это серьезное изменение, здесь рождаются представления о мире. Вот вам двадцать, вот сорок лет, восемьдесят, сто... Здесь, на возрастной оси, масштаб сто лет, а на другой — миллион: это эволюция цивилизации, человека как вида. Если миллион лет тоже разбить на отрезки, сначала будет более-менее ровная линия — нарастали серьезные изменения, на это нужно, ну, полмиллиона лет; потом как бы резкий скачок — значит, появилась палка в руках, понятно, что уже можно кормиться на качественно ином уровне, исчезает проблема выживаемости. И что в сравнении с этим наши сто лет? Если в масштабе нарисовать вот этот маленький период жизни человека и круглую кривую серьезных изменений, то что же он скажет вам об этих изменениях, если для него — он эгоцентричен — драматически мир менялся с возрастом, вот на этом небольшом отрезке. Вот здесь мама за руку в детский сад водила, а здесь уже почему-то перестала — это принципиально иное. Здесь ты физически умирал без родителей, а здесь они без тебя умирают. Эти драматические изменения в жизни каждого человека настолько подавляюще несравнимы с тем, что там происходит в мире... Ерунда: Интернет или лошади арабские.

Один умный человек сказал мне, когда я советовался с ним, чему учить своих детей: “Древнегреческому языку”. Это очень мудро. Я битый час выкладываюсь на беговой дорожке, чтобы выдержать темп, который себе задал, и три часа ночью на ней же сплю, чтобы никуда не уезжать, не отвлекаться, — это как бы очень важно, сегодня на такой суете все строится. И круг моего общения — три заместителя, которым надо успеть что-то сказать, отдать, в чем-то их проверить. Плюс еще ряд людей. И я вообще не вижу, мне не интересно, что где-то там происходит. А наверняка, много чего происходит... Слава богу, если в двадцать, вернее, в пятнадцать лет постигнешь основы древнегреческого и можешь без субъективизма переводчиков, по

своему выбору прикоснуться к тому, что люди выработали, скажем, пять тысяч лет назад. Для человека это важнее, если не в данный момент, то позже, в старости.

Один мой друг, которому за девяносто лет, — для меня как машина времени. Я его спрашивал: “Интересно, а что я буду чувствовать в сорок лет? Вот в двадцать восемь я чувствую то-то, а что люди чувствуют в сорок? А в пятьдесят? В шестьдесят?” И он мне рассказывал. Вот здесь больше изменений, и этот мир — внутренний мир человека — интереснее. Что там Интернет! Вот придумали электропечку, в которой не горячо, а все кипит. Ну, это тоже изменило мир, нам говорят, домашних хозяек. Да ничего это не изменило. Тысячу лет назад жарили курицу на огне и сегодня сырую ее не едят. Как раздирали эту несчастную курицу, так и сейчас раздираем. Что изменилось в культуре человечества? Как-то не могу искренне ответить, что я потрясен уровнем, вернее, динамикой мирового развития.

*— А как складывался ваш социальный мир? Что вы склонны считать определяющим для вашего времени и поколения? Ориентируетесь ли на какую-то референтную группу, менялась ли она с течением времени?*

— Да, мама тоже водила меня за руку, потом вдруг я — один на улице, уже сам могу себя защищать, могу, наверное, поскольку молод и жесток, и напасть на человека из каких-то там смутных соображений. Это этап отрочества. При том интенсивное познание всего, читается 15 книжек из папиного портфеля в неделю, и ждешь, какие он тебе еще из библиотеки принесет. А что-то в это время менялось: было подписано соглашение о стратегических и наступательных вооружениях, Картер встретился с Брежневым, поцеловались. А я знал только одно — что я один на школьном поле, где горит костер, что я молодой, сильный, штангу могу поднимать и вообще... Потом годы учебы в физико-математической школе, мир тригонометрии, геометрии, разрезания плоскостями сложных фигур, изучение законов, по которым устроен мир, интерес. Выясняется, что — хо-хо-хо! — значит, все это ерунда, что мы там костры жгли и в битки играли. Вот он — мир наконец-то.

Оказывается, человек-то, собственно, может все, его энергия переворачивает мир — и это не слова, это моя энергия переворачивает мир, я в этом участвую. Вдруг понимаю, что все вокруг сделано вот такими, как я, и притом они еще получили огромное удовольствие. В принципе ничего и не надо, кроме власти, в любом ее проявлении — политическом, экономическом, “ученом”. Залезть на вершину, реализовать. И когда ты начинаешь осознавать, что в тебе это есть, — это меняет за тебя твой мир. Драматически, безусловно.

Вот центр изменений, которые случаются в жизни. А дальше... Сейчас мне 40. Перемены в моих представлениях за последние 10–15 лет — огромные. От понимания, что я ничто не могу глубоко изменить, к осознанию того, что в принципе нет такой вещи, которая не может меняться под воздействием объединенной энергии, воли людей. И, собственно, доказательство тому — все, что мы видим: от обычного костра до атомных электростанций.

*— Вас не оставляет желание перемен?*

— Если можно, вместо ответа — лирическое отступление. Сын у меня все время что-нибудь спрашивает: “Папа, а как определить, молодец я или нет? Я вот старался, но меня из школы выгнали”. — “Критерий один, — говорю. Ты должен сравнивать себя с собой вчерашним. Если ты узнал на сто человек больше, если ты узнал на сто знаков больше (условно говоря), ты понимаешь, что тот, вчерашний — щенок по сравнению с тобой нынешним, ты молодец. Как только за год (а не дай бог, за два-три) с тобой ничего не произошло — это первый звонок: кончился твой рост. Ты можешь быть нищим в бочке, это не важно. Но если ты бросил материальный мир ради того, чтобы глубже что-то понять, — теперь ты мне покажи, как гнешь ложки на расстоянии. Силой своей мысли, потому что ты ее тренировал. Если не покажешь, а уже бросил прежнее, я скажу, что ты несостоятелен. Что ты узнал? Что понял? Ты просто ничего не сделал. Каждый год энергия, которую тебе дают солнце, еда и прочее, должна превращаться во что-то реальное. Ты должен себя капитализировать”.

Я ему говорю, что не могу сравнивать себя с Биллом Гейтсом, который много чего придумал, потому что тогда буду чувствовать себя ущербным. Но я считаю себя сильнее Гейтса, поскольку динамика изменений, происходивших у меня лично за каждый год, пока больше, чем у него. А когда-то он переигрывал. Сегодня я. Такие личные соревнования можно устраивать с кем угодно. Вот это, мне кажется, важно: динамика развития.

Конечно, о таких вещах не думаешь, тем более не говоришь, разве только когда сын спросит или вы сейчас. Я приехал сюда с совещания, где думал о весьма конкретном: почему у правительства не хватает денег на запуск космонавтов, а мы этим занимаемся бесплатно. Решался вопрос, насколько важна для нас человеческая космическая программа, где мы имеем уникальную технологию. Вот разбираемся...

— *А как вы, Сергей Георгиевич, оцениваете на фоне тенденций мирового развития наши российские реалии?*

— Должен сказать, что мы — я имею в виду Россию — молодцы. Если пользоваться моим критерием, то есть сравнивать себя с собой вчерашним, думаю, мы сегодня по происходящим изменениям самая динамичная в мире страна. Лучше Польши, Венгрии...

— *Китай?*

— Безусловно. Что Китай? Он не решил свои фундаментальные проблемы. У него впереди то, что мы прошли. Это банально, конечно, но факт. Россия дала реальную свободу своим людям за один день. Вот мне дала. Да? То есть вызвали или не вызвали, просто сказали, что раньше у тебя была строго иерархическая структура, ты был встроен в нее, и шансов выйти — никаких. Внесистемного не существует — вакуум. Ты должен сидеть в институте, у тебя есть начальник — не важно, дурак он или не дурак. Должен, как все. И вот тебе дали возможность выбора, ты можешь взять и уйти, создать свою компанию и т. д.

Я считаю, это было фундаментальное изменение за последние, скажем, сто лет в России.

— *Социальное.*

— Социальное, конечно. Высвобождение инновационной энергии. Это ключевой момент при переходе, начатом в 1985 году, от тоталитарного общества к новому его состоянию. Говорят иногда: дали больше свободы, чем надо бы. Но кто мерил, сколько ее полагается? То, что мы через это реально прошли, — факт. То, что сложно, с материальными потерями для многих, — безусловно. Ну, без этого просто нельзя было. Все теории насчет управляемого, знаете ли, социального перехода — это рассуждать хорошо. Вы попробуйте, идите и сделайте. Либо вы высвобождаете инновационную энергию, либо пытаетесь регулировать огромную структуру, часть природы фактически, воображая себя чуть ли не Богом. Вернемся опять к закону об энтропии. Я могу регулировать часть природы, осуществив какие-то исследования и т. д. Но так вот выстроить целый социум — для этого просто, как правильно говорит Кастельс, у вас не хватит линейных программистов. Невозможно все это просчитать, слишком сложна система. Даже простые задачи, сошедшиеся одновременно на каком-то отрезке времени, в одном месте, — не решаемы. Вы же имеете дело не с абстракциями, у вас один механизм — государство, как нас учили, механизм перераспределения. В общем, так это и есть, государство определенного типа. Оно должно у того взять, тому отдать. А что можно взять? Если продукт не вырабатывается — распределять нечего. Вот почему получается: если слишком сильное государство, оно подавляет инновационную энергию общества, прекращает, само собой, проводить какие-либо реформы, и как следствие — фактическая деградация, у вас продуктов нет никаких. Поскольку трансформация энергии в продукт — она прямая и непосредственная. Вот отберите у меня возможность решать — я тут же вам на шею и сяду.

Надо опираться на тех, кто занимается такой трансформацией, тогда один может кормить тысячу человек — тех,

кто этого делать не может. Не обязательно беззащитных, беспомощных, старых. Просто “делателей” в жизни весьма ограниченное число. Природа так устроила, там многое подчиняется известному распределению Гаусса, почти всё. Из этого надо исходить. Глубоко ложен посыл насчет того, что все люди одинаковые, который когда-то внедрялся. Что-то дано одному, что-то другому. И когда государство вводит в качестве механизма регулирования какие-то новые правила игры, действие которых как бы выключает тех немногих, ту созидательную силу, — прекращается генерирование. Этот дождь просто тушит все костры. Где вы греться будете? Вот мы и пришли к тому, что в США генерируется валового национального продукта на порядок больше, чем у нас. Соответствующие возможности выравнивания социальных отношений. За счет чего? За счет того, что у них высвобождена энергия тех двух-трех-пяти процентов людей, которых даже не знаю, как верно назвать.

— *Элита?*

— Ну, это смотря какие критерии вы примените. Если элитное заключается в том, например, чтобы меньше работать, а больше получать, то элита тут персонально тоже выкладывается.

— *А может, мозги?*

— Кто это сказал, интересно?

У нас сейчас тоже идут инновационные процессы. Десять лет — почти ничто даже в жизни одного поколения, мало во всяком случае. Я уже не говорю — жизни целой страны в определенный исторический период. Потому спады на протяжении десяти лет — это, безусловно, отражение тренда. Высвобождение состоялось, уже не надо быть пророком, чтобы сказать, что в следующей декаде станет лучше, и в следующей — тоже. Эта проблема будет решена. Но возникает другая. По Гауссу, 20 процентов народа создает 80 процентов продукта, а 3 процента — пользуются 90 процентами. Когда людям это вдруг разъяснили и показали, почти каждый, кто не оказался среди тех “творцов”, вос-

принимает это как глубокую несправедливость. Но у него проблема не с теми, кто создает, а со Всевышним: “Ты почему меня ущемил? Я тоже хочу сюда”. Хочется быть лучшим. Всевышний не Всевышний, однако все в тебе заложено. Человек достаточно развит, чтобы осознать свою ситуацию. Он, как в Швейцарии например (я просто там много времени проводил), идет и стреляется. Ему что — есть нечего? Он вообще живет в социальном государстве, почти при социализме. Тот пакет компенсации, который ему полагается, даже если он никогда в жизни не будет работать, серьезно превышает доход самого работающего в Камеруне. Но в Камеруне тот не стреляется, а здесь стреляется, потому что все познается в сравнении.

Таким образом, обязательно появятся другие проблемы. Но те, о которых мы говорим сейчас, безусловно, будут решены. Вы высвободили инновационную энергию общества — получите по полной программе. И валовый национальный продукт будет расти, и динамика станет серьезно больше, чем в США. Там это высвобождение произошло двести лет назад, собственно, никогда запрета и не было. А здесь, после долгого запрета, должен быть всплеск — на какой-то срок. Грубо говоря, развиваться от нуля всегда легче.

— *По вашему мнению, Сергей Георгиевич, за последние 10–15 лет случилось что-либо равнозначное высвобождению инновационной энергии?*

— Мы от диктатуры фактически перешли к свободному развитию общества. А это высвободило именно его энергетику. Ничего уже столь же фундаментального вы не сделаете. Есть, конечно, какие-то проблемы, проблемки. Для их решения существует правительство, и мы в этом участвуем, как можем.

— *А то, что народ в большинстве своем пассивен, — не из тех, фундаментальных вещей?*

— Народ не пассивен, это глубокая ошибка. Мы находимся в сложном трансформационном периоде, где встре-

чаются почти три поколения. У нас есть поколение, да, пассивное, которое всю жизнь считало, что за него решат. И мы фактически потеряли те три или пять процентов людей-созидателей, которыми движется мир. Сегодня они уже не могут быть задействованы, хотя физически они там есть. И это ярко демонстрируется на отдельных примерах. У нас директор одного из заводов — дедушка, которому 70 с лишним. Так совпало, что он как раз из тех трех процентов, плюс активизирован сегодня, то есть включен в дело. Вот он — да, а другие — нет. Вместе с тем мы еще не получили таких людей из новых поколений. Когда у нас перестали ставить штамп “выезд разрешен”? Те, кто родился уже после этого, пока малы. Они и в 20 лет еще ничего не дадут, возможно, только в 30 начнется отдача. Разрыв сейчас такой происходит, в силу чего у нас не генерируется ни национальный продукт, ни мысль, в науке упадок. То есть мы попали в такой неудачный период (1985–2025 годы), когда у нас просто выбило эти три процента: одни уже не могут, они сломлены фундаментальными изменениями, а другие не дозрели. Вы им дайте дозреть, для этого много чего надо. Свобода — необходимое условие, но не достаточное. Как сертификация самолета, чтобы его пустили на линию. Товар сертифицирован, но это не значит, что его сразу все купили. Так и здесь. Нужны инфраструктурные изменения, чтобы свободой можно было пользоваться. Нельзя просто сказать предпринимателю: “Вы свободны”. Ну и что? А инфраструктуры нет, ну, побился-побился и умер от отчаяния. А кто ее создает? Эти же люди, из тех же 3-5 процентов. Соответственно, они должны появиться в законодательстве, стать бюрократами в лучшем смысле слова. Все это должно двигаться параллельно.

— *А вот вы, строя самолеты, считаете себя причастным к этому делу всеобщего преобразования?*

— Конечно. Я — один из его центров. Безусловно. Неважно, чем я занят. Раньше пароходы строил, сейчас — самолеты. Мне было 28, и я еще не успел быть подавлен, но успел созреть. Таких мало. Мы — первая маленькая прослойка в фундаменте, на котором будут уже основываться

после нас. Мой возраст — почти критический для изменений. В 85-м, собственно, еще ничего не происходило: глубоко внутри правящей верхушки — споры, конфликты, выходы-пути; и небольшие волны по обществу. Это все-таки изменение внутри правящего социума. А выплеснулось оно через пять лет в практическое законодательство, например в закон об акционерных обществах (1990 год). Они сами сначала поработали пять лет с собой, потом вышли к народу и дали инструмент: создавайте акционерные общества, стройте — от платных туалетов до самолетов — у кого на что хватит сил и энергии. А нужно еще осознание, что ты действительно можешь, нужна вера в свои силы — на это ушло еще пять-семь лет. И только последние несколько лет, с 1995 по 2003 год, — это уже активная фаза, когда мы начали менять среду, инфраструктуру. И законодательство сейчас создаем, и продукты производим — всё сразу делаем. Потом уже будет более глубокая специализация. Их, то есть нас, станет больше, поэтому одни займутся законами, другие — сельским хозяйством (я уверен, что с ним у нас через пять лет не будет проблем; Евросоюз уже вводит квоты на экспорт российского зерна, можете себе представить, какой путь мы прошли — от 50 лет закупок сельхозпродукции до борьбы с Евросоюзом за право ее экспортировать). А на этой основе возникнет дальнейшее движение, и мы уже начнем определять место нашей страны в мире.

— *И каким представляется ее будущее? Вы не считаете, например, что возможен поворот назад?*

— Да нет, какие глупости. Это даже не достойно обсуждения. Козьма Прутков говорил: “Зри в корень”. Значит, надо понять физику, химию процесса — главное, корневое меню. Мы пошли одним путем, потом он закончился, изменился. Экономический крах породил идеологический. Если бы мы могли еще лет пятнадцать производить в достатке угля и стали, поверьте, ничего бы не изменилось, никакой демократии никому не надо было бы. Это не корневое меню, потому что здесь все просто и неинтересно на самом деле: система показала свою неэффективность. Пытались си-

стему в 250 миллионов отпрограммировать? Просчитать, сколько потребуется пуговичек для рубашек? Но уже в самом начале, я думаю, в 40–50-е годы, людям, которые об этом думали, было ясно, что система имеет насыщение, чем больше станет параметров, тем меньше наши возможности, даже при динамичном росте вычислительных мощностей. И было понятно, что это тупиковая ветвь. Но если вы используете физический принцип трансформации энергии пара в энергию движения, то инженер будет доводить до совершенства паровоз, тупо шлифовать котел, а физик посмотрит в корневое меню и выведет формулу, из которой ясно, что предел коэффициента полезного действия этого устройства ограничивается физическим принципом самого устройства — 5 процентов, все, нужен иной принцип. Перешли на другой физический принцип — трансформации энергии в электрическое механическое движение, — а там уже 90 процентов. Чувствуете? Так и в социуме. Мы пользовались не тем физическим принципом.

— *Который устарел?*

— Ну, он не устарел, он был параллельный. Существовало много возможностей, но никто глубоко их не анализировал. Побежали, мосты и телеграфы взяли. И предложили какую-то схему, так сказать, бизнес-план. Действовали как инженеры. А обратились бы к физикам, он подумал бы и сказал: “Ребята, у этого принципа теоретически достижимый КПД — 3 процента. При таком условии задача неразрешима. Тогда зачем взяли мосты и телеграфы?”

А другие анализировали и просчитывали. Во всяком случае, в той сфере, что называется рыночной экономикой. Есть много талантливых людей, и не одна Нобелевская премия была выдана по результатам их исследований. Потому, как ни крутись, из экономических систем она пока единственная и базовая. А на экономике — идеология, все становится взаимосвязанным. Система. И все познается в сравнении. Они опережают, обгоняют. Но могут и уничтожить более слабую систему, не испытывая при этом глубоких потрясений, а, напротив, полагая, что идеологически, политически, экономически это полезно.

— *Конфликт цивилизаций? В последнее время это обсуждается особенно обостренно.*

— Я считаю, что возникновение, развитие различных цивилизаций на одной планете опасно. Именно тем, что периодически одна возрастает так, что использует другие, не сознавая этого. Сейчас Америка вкладывает в НИОКР в 40 раз больше средств, чем вся Европа. Это уже создает другую цивилизацию. Я склонен рассматривать идею существования трех цивилизаций, которые скоро не будут замечать друг друга, поскольку серьезно оторваны друг от друга. Уже сейчас. Прежде всего это США — совершенно отдельная цивилизация, явление планетарного масштаба, о чем еще не известно подавляющей массе людей, потому что Америка ассоциируется пока с кока-колой, Макдоналдсом и прочими, весьма для нее незначительными вещами. А у этой цивилизации есть и будут продукты — не говорю, лучше, чем у других, просто основанные на иных физических принципах. Даже невидимые. Например, самолеты, движущиеся со скоростью света. Вы их просто не видите. А следовательно, не только пересекаться — воевать-то с Америкой вы точно никогда не будете, это уже гарантировано, потому что, как правило, такие цивилизации не воюют (вы с теми же курицами воюете? Вы их едите). Вот вам развитие параллельных миров на одной планете.

— *Считается, что как раз глобализация стирает границы между цивилизациями.*

— Ну да!.. Вторая цивилизация — это мы. Базовая, широкая по вовлеченности людей. Если первая охватывает едва ли 250 миллионов вместе с эмигрантами, то вторая — несколько миллиардов человек, тех, кто находится в одном поколенческом типе цивилизации, прежде всего, по уровню развития техники, как это ни странно. Вот здесь реально технология является определяющей. Ну, например, вы слышали про разные поколения военной техники? Вы не задумываетесь, когда читаете в газете, что Россия строит, вернее, хочет построить самолет пятого поколения, чем они отличаются — четвертое и пятое? А фундаментальное

различие предыдущего поколения от следующего в том, что совсем незначительное количество оружия следующего поколения принципиально способно уничтожить все существующее предыдущее. Грубо говоря, один станковый пулемет, укрепленный в доте, положил бы всю конницу Чингисхана. И самолеты нового поколения уничтожают весь флот старого. Просто сразу, сколько ты их ни пошли. МИГ-29, самолет четвертого поколения, может уничтожать бесконечно большое количество самолетов третьего поколения — МИГ-15, МИГ-17, МИГ-21. Почему? Потому что, скажем, МИГ-31 захватывает одновременно 12 целей. Обстреливает 8, передает на соседние самолеты всю информацию о противнике, имеющуюся у него в компьютере, и тогда, даже если он случайно упадет, другие самолеты уничтожат захваченные цели. И нет шанса от них спастись. Так вот: Россия думает, как ей построить, например, самолет пятого поколения, Европа думает. А Америка уже построила два самолета пятого поколения на выбор, уже их отработала, один выбросила, а второй запустила в серию и работает над шестым. А разрыв даже в одно поколение, вы понимаете, создает две цивилизации. Все-таки есть в этом, что ни говорите, определенный напряг. Прежде всего — для цивилизаций низшего поколения.

— *А третья, по вашей классификации?*

— Третья — весь остальной мир. Существует такой потерянный континент — Африка. Есть еще много потерянных стран в рамках других континентов. Это действительно почти весь остальной мир. В Камеруне не знают, чем отличается оружие четвертого поколения от пятого, потому что у них не было первого. Они его не сгенерировали просто-напросто. Энергетически не создано таких условий. Они бы могли пойти по другому пути, как я говорил, остаться голыми, в повязках, но на расстоянии стали бы ложки гнуть. Тут еще неизвестно, кто кого: ты над ними летаешь, а они ложки гнут. Но не гнут, вот в чем проблема. Эта цивилизация как бы полностью зависит от первых двух и на них полагается; причем вторая для нее более важная, она где-то рядом, а это и Европа, и Россия, срав-

нительно много стран. С Америкой же она почти может не пересекаться.

— *А тогда, 11 сентября, они не пересеклись? Это все-таки вызов.*

— Вызов, конечно, а кто же говорит, что не вызов. И вызов, и трагедия. Но мир это, повторю, не изменило.

— *И все же: три цивилизации, о которых мы говорим, неминуемо противостоят.*

— Да нет, в том-то и дело. Иногда пересекаются — вот это правильное слово. В момент таких пересечений бывают недоразумения, даже катастрофы. А иногда катастрофа — это война, с уничтожением целого народа или континента.

— *Люди боятся быть поглощенными этой первой цивилизацией? Те же антиглобалисты.*

— А кто такие антиглобалисты, кто их финансирует? Если это существует, надо опять-таки разбираться в корневом меню — что откуда взялось. Все имеет свои причины. Другой вопрос, что, наверное, фундаментальное устройство мира мы тут сейчас не изучим. Если бы покопаться лет десять, можно было бы эти рассуждения привести в систему и тогда сказать: “О, это следствие вот того-то закона, к которому мы вернулись”...

— *Хотелось бы все же услышать ваше мнение — что ждет нас, нашу цивилизацию в масштабе глобальных изменений?*

— Я считаю, что представления о будущем определяют тем, что человек как вид начнет себя трансформировать. Вот это серьезно. Люди уже смогут заняться собой. Не жалкий аутотренинг, который известен тысячи лет китайцам, не хитрые приемы акупунктуры (ущипнуть себя за ухо, чтобы не болела поясница) и прочее. Но именно принципиальные изменения. Сколько веков человек ста-

вил задачу — познай себя! А в сравнительно недалеком будущем, через 300-400 лет, он серьезно начнет менять себя как вид. И мы сейчас даже не можем прогнозировать, как это будет, к чему приведет. Морально это или аморально? Асоциально? Трудно что-либо утверждать. Но ясно, что человек начнет себя трансформировать, уже сегодня ясно. Наивны люди, которые пытаются сейчас — запретами, законами, проповедями — остановить процесс клонирования. Это не остановишь. Человек будет менять и себя, и мир. Он придаст и себе, и миру удобные формы. Разрешим ему устроить свой дом по-разному, если уж речь заходит о формах существования. Это может быть и фундаментальный русский дом с метровыми стенами, и японская хижина, говоря абстрактно.

— Скажите, Сергей Георгиевич, у вас есть любимая тема, идея, которая бередила бы вас всю жизнь, а возможно, идеал?

— Идея? Никакой. Это все рассказы насчет того, что вот я был маленький, шел, увидел падающую звездочку и решил, что стану космонавтом...

— Ну, примитивно, да. Но в принципе?

— Если вы посмотрите, как были организованы любые фундаментальные социумы, которыми безусловно являются крупные компании, скажем Hewlett Packard, если спросите самих создателей — ведь никто не собирался делать именно это. Когда Packard в конце жизни давал интервью, он признался: “Как мне хотелось бы сейчас вам рассказать, как мы с Hewlett’ом сидели в гараже (они начали дело в гараже) и видели перед собой через 25 лет весь этот ряд принтеров, компьютеров, которые изменили мир, скорость печати. И как мы шли через потери семей, через все к этой цели. Но не было ничего такого. Мы вообще, по моему, сначала замки для гаражей делали”. То есть force, старание — что из этого получится, никогда невозможно предсказать. Просто реализуешь все, что можешь. Просто можешь все больше и больше. И никакой фундаменталь-

ной идеи — изменить человечество и прочее. Как правило, сначала движет элементарное желание нормального материального существования. Когда удовлетворяется эта потребность, переходишь на другой уровень, например, чтобы у всех было то же самое. Когда появляется у всех, хочется иных перемен, уже интересно сделать лучше, пойти дальше, чем другие, самоутвердиться. Так и идет. Никакой идеи сразу не возникает. Если Сорос, например, реально давал миллионы долларов на российские образовательные программы, на книги, библиотеки, то почти наверняка 50 лет назад его это никак не беспокоило. Если вы будете брать у него интервью и он скажет: “Вы знаете, я всю жизнь шел к тому, чтобы людей...” — не верьте.

— Ну почему? У него есть своя идея — открытое общество. К тому же говорится, что XXI век должен стать веком гуманитарных знаний, что слишком сильно влияние прагматизма на нашу общественную мысль. Многих тревожит духовный кризис, переживаемый человечеством, обесценивание жизни человека и вместе с тем тщетность поисков ее высокого смысла. Вы разделяете эту тревогу?

— Проблема, которая, по-моему, с тех пор как появилось человечество, возрождается каждым индивидом. Вот тревогу точно не разделяю, насчет тщетности поисков высокого смысла. Мне очень нравятся высказывания некоторых людей, живших в совершенно разные эпохи, но очень часто сходящихся в том (как и академик Сахаров), что смысл жизни — в экспансии. Энтропия возрастает — всё. Диоген в бочке, еще раз могу сказать, захватывал своей мыслью умы, да так, что спустя тысячи лет захватывает, хотя сколько там этих философов в бочках сидело. Но он отвоевал пространство мысли. Вот его экспансия, другого — в другом, в третьем. Поэтому чего тут тревожиться? Смысл жизни давно найден и подтверждается каждым поколением.

Не думаю, что XXI век должен стать веком гуманитарных знаний. Через пару веков вообще не будет такого грубого разделения знания. Могу даже утверждать, что организация обучения (learning organization) станет важнее:



днем работать, ночью учиться, как я уже говорил. Масса примеров, когда знания не отнесешь ни к гуманитарным, ни к естественным. Мы сгенерируем целый классификатор знания, и сотрется это различие (его никогда, собственно, не было, это искусственное разграничение). Как правило, талантливый человек талантлив во всем. Общего знания, конечно, нет. Речь идет о генерации идей. Есть люди (их немного, может, даже меньше, чем те 3 процента), которые генерируют идеи в любой области, они могут быть полезны и на естественном семинаре, и в бизнесе. Конечно, инструментарий (возьмите медицину и генную хирургию) еще будет разделяться. Но это инструментарий. А генерация, сама мысль... она и раньше не разделялась, сейчас не разделяется и не будет разделяться.

## С.Л. Кравец

### Очень легко думать о мире и трудно думать о себе

— *Сергей Леонидович, вы занимаетесь уникальной работой — подготовкой и изданием одновременно двух энциклопедий: Православной и Большой российской. И, надо полагать, живете как бы в двух мирах, двух измерениях. Традиции, каноны, вечные истины и вместе с тем стремительные перемены вокруг, предельное “сжатие” исторического времени, даже, по мнению ряда ученых, переход человечества в качественно новое состояние. Воспринимаете ли вы наше время как критический момент в истории цивилизации?*

— Думаю, что и сам вопрос возник оттого, что ощущение “сжатия” времени или “убыстрения” жизни существует во всех областях человеческой деятельности, в каких-то — даже фиксируется. Вот есть такое известие: при гробе Господнем существует лампада, в которую в течение многих веков наливали одно и то же количество масла одного и того же состава, но буквально в последние 20 лет это масло не успевает выгорать за обычный, строго соблюдаемый срок, причем остается все больше и больше. Иными словами, если представить себе, что в том ореоле (при гробе Господнем) время движется несколько по-иному, то время, в котором живет мир, действительно как бы сжимается. Не знаю, насколько благочестива легенда... Во всяком случае, она говорит, что ощущение такого “сжатия” у людей действительно присутствует.

Конечно же, мир, человечество переходят в другое состояние. И физически человек изменяется — не только в том, что он становится менее физически развитым или более развитым умственно, меняется вся система его жизни.

Если раньше он был настроен прежде всего на воспроизводство (этим во многом обуславливались ранние браки), то теперь практически во всем, скажем так, более-менее цивилизованном мире огромная беда — так называемые отложенные роды. Человечество стареет уже при рождении каждого человека, потому что новое поколение продуцируется более старыми людьми. От этого происходит много негативного. И мне кажется, отмечаемые изменения определенно направлены, это некий поступательный ход истории, который не изменить. И, собственно, любому человеку — будь он трезвомыслящим или настроенным экспрессивно пророчески, но как-то признающим верность христианского взгляда на мир — абсолютно понятно: история в конце приходит к Апокалипсису. Когда? Этого даже Христос не знал. Он говорил, что нам не дано знать времена...

Понимаете, очень легко думать о мире и трудно думать о себе. Следуя христианской догматике, в этой ситуации, когда ты сознаешь, что мир идет к своему концу, а потом будет Страшный суд и второе Воскресение, естественно подумать о себе. Сказано: спаси самого себя. Или как в свое время сформулировал Серафим Саровский: “Спасись сам, и тысячи спасутся вокруг тебя”. Думай, как тебе было бы лучше, и поступай соответствующим образом, и оттого будет лучше другим. Но вообще осознание того, что история не основана на причинно-следственных связях, что мир развивается в определенном направлении, целеполагающе, признать психологически достаточно сложно. Один современный ученый сформулировал это так: честный историк постоянно сталкивается с тем, что он должен или признать полную бессмысленность истории, каких-то ее актов, или признать наличие некоего плана, некой высшей силы, — ибо объяснить всю эту бессмыслицу, исходя из каких-то причин, нельзя. Ее можно понять только по результатам, последствиям — то или иное делалось не из-за чего-то, а для чего-то. И это никак не меняет трезвого взгляда на жизнь, скорее, даже помогает разрушению иллюзий, которыми мы постоянно себя утешаем, скажем иллюзиями прогресса, гуманизма и т. д.

Вспомните начало 90-х годов, когда мы были готовы обменять свои национальные интересы на так называемые

общечеловеческие ценности. Что такое сейчас общечеловеческие ценности, уже после Югославии и Ирака? Оказалось, такого аморфного понятия не существует. Каждый раз, по отношению к конкретной стране оно применяется по-разному. Собственно, рассыпается еще одна иллюзия, сквозь нее проступает жесткий национальный интерес, сформулированный еще во времена Трумэна: если в Калифорнии жить хорошо, то все должны жить так, как в Калифорнии.

— *Но все же имелось в виду (во всяком случае, в пору перестройки) прежде всего некое этическое, нравственное содержание, вкладываемое в понятие “общечеловеческие ценности”.*

— А какое может быть нравственное содержание у ценностей, если их носитель и блюститель — человек — объявляется высшей ценностью? Это та же, но закамуфлированная фраза Раскольников: “Если Бога нет, то все позволено”. Если я — Бог, если я — высшая ценность, значит, я и делаю все, что мне нужно.

— *А человек — не высшая ценность?*

— Конечно, нет. Высшая ценность — мир в целом, потому что человек — как бы это сказать? — не хозяин мира. Он его распорядитель. Есть даже такое понятие, как христианская экология. Достаточно четко сформулировано, что человек, конечно, как бы возглавляет этот мир. Но он за него и отвечает перед Богом. Всё в его руках, ему даны возможности управлять и распоряжаться. Но распоряжаться можно с чувством ответственности и абсолютно безответственно. Можно этот мир настолько изгадить, что он будет непригоден для проживания сначала отдельных видов, потом целых семейств, потом и самого человека. И в какой-то момент вполне вероятна ситуация с повторением, да, Всемирного потопа, когда человек довел мир до того, что легче было уничтожить человека, чтобы сохранить этот мир. Если относиться к человеку не как к властителю всего и вся, а как к сотворенному ради некой цели, тогда у

него возникает и чувство ответственности. А так — ну, делай что хочешь, главное, чтобы тебя не поймали. Да? Вот к чему на самом деле сводится та этика...

— *Давайте согласуем это с тем, что вы говорили прежде: “делай как тебе лучше, и тогда всё и всем будет хорошо”.*

— Так лучше не в гедонистическом смысле. А вот если для вас существует понятие Страшного суда и вы сознаете, что нужно нравственно спастись, что это самая главная ваша задача, тогда и работает принцип: делай, думая о себе. Не пытайся рассказать другому, как плохо он поступает, не старайся воспитывать другого — воспитай себя, тогда вокруг и другие спасутся, смотря на тебя и поступая так же. Ты станешь для них авторитетом. Если этого нет, то и возникают либо теория Раскольникова — Ставрогина, либо теория гедонизма, полного расслабления. Ну а какая разница? Почему бы, скажем, не употреблять наркотики? Мне так хорошо, я сам за себя отвечаю. Но оттого что человек имеет право свободно выбрать зло, оно не перестает быть злом, не становится добром. В конечном счете, если мы рассмотрим все учения, начинавшие с отрицания Бога, — будь то коммунизм, фашизм, сатанизм, — все они приходили в итоге к человеконенавистничеству. Потому что, отрицая Бога, ты отрицаешь и ценность его творения. Статистика, например, сейчас подтверждает: как только возникают какие-то богоборческие, сатанинские секты, появляются ритуальные убийства и т. д.

Религия, несомненно, дает человеку поддержку, он понимает, что он не один. Это и страх, и ответственность, и помощь, и любовь. Даже в случае, если нет любви к ближнему своему или нет любви, которую дарит женщина или мужчина, вы чувствуете другую любовь, другую заботу, и ее просто надо научиться ощущать. А это дается только верой.

— *И как это все применимо к сегодняшним российским реалиям, когда человек и не хозяин, и не распорядитель, когда сама ценность человеческой жизни низве-*

*дена едва ли не до нуля — даже убить его, кажется, уже ничего не стоит?*

— Что значит “у нас убить ничего не стоит”? Если посмотреть статистику преступлений по России и, допустим, по среднеамериканской провинции, то она примерно одинакова. Образ жизни, степень потребления продуктов, товаров, конечно, разнятся, тут наш человек действительно проигрывает. Но, скажем, число приобретенных и приобретаемых автомобилей, предметов длительного пользования в последнее время в стране увеличилось в несколько раз. У людей появляются иные ориентиры. Естественно, человек никогда не будет счастлив только оттого, что больше потребляет. Но он и не может быть несчастлив потому, что потребляет недостаточно. Существует некоторая грань, за которой действительно нищета. А нищета — уже несчастье, как это всегда понималось любым народом. Бедность — совершенно другое дело, она может быть разной — объективной, спровоцированной, вполне может иметь в основе завышенные потребности. Ну, чем мы с вами, гуманитарии, жили в советское время? Особенно мне запомнились конец 70-х — начало 80-х годов... Исключительно за счет ограничения собственных потребностей. Вот я закончил аспирантуру, зарплата 120 рублей, у жены — 110. Чтобы жить счастливо, ты должен ощущать, что не надо тебе ни машины, ни дачи. Зачем? Тебе и так хорошо, с твоими близкими, с книжками...

У нас же в 91-м году, когда вроде бы перед тобой все открылось, неуловимо нарушился некий баланс. Увидели, что вокруг есть много чего хорошего, захотелось иметь это сразу, и многие до сих пор не понимают, какого огромного труда все это стоит. До сих пор. Вот строят у нас заводы “БМВ”, все равно: вместо того чтобы закручивать гайки, мы заколачиваем их кувалдой. А получать хотим, будто закрутили.

— *Но речь, видимо, и о вопросах иного рода: согласитесь, что у нас человек крайне задавлен государством.*

— Во-первых, вы передаете самоощущение бюджетника, потому что у небюджетника оно другое: заработал — съел. Дальше. Вы передаете самоощущение невестрабо-

ванного бюджетника и скажете, что таких бюджетников у нас большинство. Но это уже не большинство, давно не большинство, после трех этапов приватизации. Что такое востребованный и невостребованный бюджетник? Существует общество, потребляющее услуги, знания, продукты — все, что угодно. Если вы производите, скажем, словари — будь вы при этом частной или государственной фирмой, — вы производите востребованный сегодня продукт. У вас его выкупает общество. И государство вам здесь совершенно не нужно. Если вы производите...

— ... скажем, научные монографии...

— ... то в данную минуту вы не востребованы обществом. И государство говорит: вот я создаю нишу для того, что сегодня не востребовано, но может быть востребовано завтра или будет опосредованно востребовано (на основе этих монографий выпустят справочники или другие книги, по ним будут кого-то учить). За счет налогоплательщиков (других денег у меня нет) я создаю определенный запас. Так вот, у нас этот запас всегда был невероятно велик. К сожалению, очень мало из того, что делалось наукой, прежде всего гуманитарной наукой, реально потреблялось обществом. В области философии, литературоведения, даже истории — бесконечные затраты сил, зарплат, бумаги, средств печати. При том, что наши современные учебники действительно без слез читать невозможно. Такое ощущение, что наука существует сама по себе, образование — само по себе, люди — сами по себе. Как это преодолеть? Почему это нельзя преодолеть? Потому что накоплена огромная масса людей — бюрократический аппарат, который самовоспроизводится. Если я сам себе начальник, я получаю 100 рублей, если у меня десять подчиненных, я получаю 150 рублей и готов нанести государству ущерб (это же не мои деньги) еще в 1000 рублей. Это действительно плохая система. Невостребованный бюджетник — самый несчастный человек просто потому, что он не востребован. Но надо отметить: сама жизнь идет так, что бюджетник должен производить качественный продукт, только тогда он сможет попасть в тот запас.

— *Это не замкнутый круг? Пока человек не станет хорошо получать, он не будет производить качественный продукт.*

— Будет, даже получая 110 рублей. Если он качественный ученый, он может написать одну статью в год, и эта статья попадет в хороший журнал, будет иметь большой индекс цитируемости и ...

— *Ему проще написать плохой учебник.*

— Вы знаете, нет. При подготовке и той и другой энциклопедии мы работаем с огромным числом ученых, и можно составить четкое представление на сей счет. Есть такие, что говорят: за ваши гонорары я писать не буду. И смотришь: а он и нигде не пишет. В другом случае констатируешь: хороший ведь был парень, хороший ученый, занимался средневековой западноевропейской историей, а сейчас — редактор в мужском журнале. Потому что если ты глубоко сосредоточен на проблеме денежных знаков, это уже ведет тебя по определенной дороге. Можно сказать, что вот человек подзаработал, зато потом... “Потом” не получается. У Бунина, кажется, есть рассказ, как он встретил композитора, написавшего “Цыпленок жареный”. И тот человек ему признался: “Вот, казалось бы, пустячок, эпизод, а теперь сажусь за пианино, и ничего, кроме этого, не выходит”. Достаточно ведь талант единожды на потребу пустить — и все, он может пропасть. Таланты должны много работать.

Реально я вижу другую проблему. Сейчас в Большой Российской энциклопедии жуткая ситуация с разделами экономики. Это большой проект, там много авторов, причем и несхожих взглядов. И все врут. И не могут не врать, потому что исходят из официальных данных. Ищем выход из ситуации, когда вранье настолько пронизало нашу жизнь, что мы даже уже не возмущаемся, а просто смеемся над этим враньем. Когда ты понимаешь, что балансовая стоимость Саяно-Шушенской ГЭС — 50 тысяч долларов, ты спрашиваешь: “Вы будете продавать ее за 50 тысяч долларов? Можно я первым стану в очередь?” — “Нет, не будем”. — “По-

чему же балансы такие показываете?” — “А кто же будет платить налог на имущество?” И это говорят министры. То есть все друг друга обманывают. Собирается попечительский совет Большой Российской энциклопедии — четыре министра, губернаторы — и думает: как бы уйти от налогов. Казалось бы, избавляясь от советской системы, мы должны прежде всего избавиться от вранья, а оно процветает, потому что прочно соединилось с государством, — вот в чем проблема. В нашем аппарате подавления появился милиционер берущий — новая особь государства. У нас теперь государство берущих. И в этом коррумпированном государстве берущих ложь становится нормой.

Вот сказано у апостола Павла: “Все творения, вся тварь стенает и ждет от человека, чтобы человек примирился с Богом, покаялся и примирился”. И тогда вся тварь спасется. И все творение ждет, когда человек начнет жить по совести. Но если у человека нет такого представления о своем предназначении — ну, родился и родился, возникает вопрос: а зачем родился? Наверное, для того, чтобы хорошо пожить. Тем более мы понимаем, что десять тысяч поколений было до нас и десять тысяч будет после нас. И я — такая маленькая частица. Давай я и поживу. И весь мой мозг, все мои таланты работают не на то, как жить не по лжи, а на то, как солгать так, чтобы меня не поймали. Вот и все. Можно ли изменить пропорции? И как? На мой взгляд, человек с детства должен знать о своем предназначении, о том, что здесь он, как учит христианство, — на очень малый отрезок времени, но у него будет еще и другая жизнь. Человек не умрет весь, ему дана душа, которая вечна и которой суждено быть спокойной или мучаться, в зависимости от того, как он повел себя здесь. Это во-первых. Во-вторых: есть некто, кого не обманешь, потому что он даже не поступки твои оценивает, а помыслы. Ты можешь не украсть, но ты готов был украсть. И ты должен бороться не со следствием (с тем, что ты взял и украл), а с причиной (с тем, что тебе захотелось украсть). Ты должен победить в себе зло, которое позволяет тебе захотеть украсть. И вот тогда ты справишься сам с собой. Недаром же, если говорить о концепции теперь уже позапрошлого, XIX века, хочется вспомнить мысль Федора Михайловича Достоевско-

го: войн будет очень много, но основная битва будет в сердце человеческом. Или человек научится жить, исходя из своего предназначения, или нет. Если не научится, то он проиграл заранее. Сколько будет длиться эта проигранная битва — два поколения, десять поколений, — это уже не имеет большого значения. Человечество будет самоуничтожаться. А если оно победит, само себя победит, если оно научится жить по совести...

— *Вы в это верите? Как в реальность?*

— Абсолютно верю. Как в абсолютную реальность. Я верю в то, что человеку дано настолько много сил, талантов и возможностей, что он сможет преодолеть любое сопротивление — внешнее и внутреннее. Если только он действительно научится по-другому жить. В какой-то степени, может быть, я верю в вынужденность этого как единственного способа существования человека, его выживания. А иначе все силы, таланты и способности будут идти на самоуничтожение. Или всем миром спасаться, или никто не спасется. Невозможно спасти только себя.

— *Речь, надо полагать, идет о всеобщем обращении в веру?*

— Нет. Это должен быть совершенно естественный процесс. Он может идти по-разному. В моем представлении, самое важное — преодолеть индифферентность, гедонизм (“мне на все наплевать, живу как живу”). Вместе с тем во многом это усиливается, из-за того, как мне кажется, что люди, мыслящие не стратегически, просто нерационально, пытаются такого рода настроения искусственно подогревать. Вот я просматриваю газеты, журналы, телевизионные фильмы, которые собирают огромную аудиторию, ведь все о потреблении. Даже любая псевдогероическая картина о бандитах о том же: мало поработал — много потребил, это хорошо. Не получается потреблять много? Не можешь убить? Считай, потерянный ты человек.

То, что это делается сознательно, — понятно. Для чего делается — тоже абсолютно понятно. Ведь все сформулиро-

вано вполне конкретно. Первая задача: превратить страну в территорию, а народ, гражданское общество — в население, население, проживающее на этой территории. Людей ничто не объединяет, кроме неких экономических связей. Потом поставить вопрос, который на самом деле уже поставили не только иностранцы, но и наши, скажем советник президента Илларионов: а может ли такое население соответствовать такой территории? Как это так — мы обладаем 20 процентами мировых ресурсов, занимаем седьмую часть суши, а производим меньше 1 процента мирового ВВП? Непорядок. Реально поднять ВВП в 20 раз мы не можем, значит, надо делиться территорией. Такая идея уже пробрасывается. Если народ, граждане этому сопротивляются, то населению все равно. А чтобы народ перестал быть народом, став населением, нужно одно: воспитать в нем полный пофигизм.

— *Если придерживаться этой терминологии, разве на протяжении многих лет он уже не воспитан?*

— Думаю, что нет. Я оптимист, который считает (как в том анекдоте), что может быть и хуже. Что-то еще сохраняется. Уж сколько раз подходило к тому. Казалось бы, все, конец... Нас просто нормальной истории не учили. Читаешь, например, послание патриарха Гермогена к русскому народу начала XVII века, во время Смуты: “Да вы просто свиньи, вы — уже не народ, и даже не люди, вы насилуете собственных дочерей, вы грабите...” Ну, куда дальше. Но все-таки что-то случилось, нашлись здоровые силы. А ведь свои же грабили, насильовали, разбойничали. Целый народ разорял собственную страну и этим жил. Отобрать у соседа, убить его, сделать рабами его детей — это вот XVII век, его начало. Более того: уже поляки в стране, уже польский ставленник на троне, патриарх умирает в тюрьме от голода. Все, конец...

— *Потому что исчезла верховная власть? Или ослабла?*

— Нет, верховная власть не исчезала. И власть Бориса Годунова на самом деле не была слабой. Это была, я бы

сказал, самая человеколюбивая власть в конце XVI — начале XVII века. Он единственный, когда наступил голод, открыл все свои амбары, пытаясь накормить людей. Но все равно, понимаете, ничего не брало. Вот при Иване Грозном, который уморил тысячи, страна становилась сильнее. Интересная вещь: все происходит непонятно почему (возможно, я повторяюсь), а вот для чего — понятно. Иван Грозный, опричнина, гонения, люди бегут от этого режима на так называемые дикие земли. И буквально через десять лет — это форпост Русского государства, это новые земли, приращенные к России. Трудно понять логику, если только ты не пытаешься это объяснить по результату.

В нашем случае, в принципе, я думаю, здоровые силы есть (ну, не может за одно-два поколения раствориться, пропасть национальное самосознание, оно все равно прорвется). Но, конечно же, должны быть какие-то изменения. Власть, к сожалению, никаких надежд не дает, ведь каждый раз мы смотрим, как та тварь на человека, на верховную власть и думаем: “Вот сейчас, вот-вот!” А власти, по сути, нет. В стране нет системы принятия решений, нет ответственности за них.

— *И как вы представляете себе те изменения — сейчас и в будущем? Можно ли в данной связи, на ваш взгляд, говорить о неких идеалах? Для вас они вообще существуют? Раньше реально ощущалось их присутствие — возможно, наивных, утопических, романтических. В наше время, говорят, идеала быть не может (как и веры тоже). Тогда что?*

— Я, к сожалению, а может быть, к счастью, застал только конец того, что сейчас называется “раньше”. Но не могу сказать, что тогда у меня были идеалы, отличные от сегодняшних. Прежде всего был идеал человека, которого я знал, любил, жизни которого верил. Это Алексей Федорович Лосев. Более того, я видел, как интересно происходит: никогда ничего не говорилось о церкви, а все идут в церковь рядом с ним. Он не рассказывал про свое, про то, скажем, что он тайный монах (я не знал этого). Но врач, который его лечил, становится священником. Многие его

ученики тоже приходят к вере. Он просто учил очень серьезному отношению к жизни и к нравственности. Да, бывают хорошие священники и плохие, бывают воры, пьяницы, распутники — какие угодно. Но в церкви нет амбивалентности нравственной. Она не назовет зло добром, а добро злом.

— *И сейчас?*

— И сейчас не назовет. Никогда не приравняет кражу и бизнес, проституцию и романтику. В жизни должен быть стержень. Амбивалентность возможна в чем угодно, но не в нравственности. А для того чтобы она, нравственность, так не шаталась, она должна находиться на каком-то более прочном основании, чем сегодняшняя жизнь. Вот церковь такое основание предлагает.

У нас есть своя телестудия, и я обращаю внимание на некоторые передачи центрального телевидения. Есть, например, такая, где весь интерес состоит в том, чтобы на максимальное число вопросов ответить так же, как отвечает большинство. Ставка на массовое сознание: и я думаю (поступаю, живу), как все; все вокруг пьют (приспосабливаются, воруют) — чем я хуже? На этом очень много построено. Сегодня можно любой порок внешне превратить в добродетель. И у человека должна быть на это внутренняя нравственная реакция, что по силам воспитать и в себе самом, и в детях. Должны быть внутренние ограничения, чтобы не распуститься. Я думаю, все-таки это возникает.

Мне нравится мысль, высказанная Юрием Кублановским: ничего сейчас с нуля в России не создать. Вот Солженицын очень уповал на земство, а теперь и ему стало ясно, что никакого земства не будет, потому что его, по сути, и не было. Сохранить, возродить можно лишь то, что не потеряло способность к возрождению. И в качестве надежды приводятся приходские общины. Их 20 тысяч по стране; таких, в которых идет жизнь — тысяч 10. Но 10 тысяч, и в каждой по 30–40 человек, в основном молодых. Это уже не традиционные “старушки”. Сейчас “старушками” становятся “шестидесятники”, люди как раз крайне

нерелигиозные, поколение даже более атеистическое, чем предыдущее и, как ни странно, последующее.

В 70-е, особенно в их второй половине, была острая реакция на тот апофеоз “шестидесятников” (я это помню по последним годам школы, по своей компании). Начался бум знаний, но не тех, которые нам давали. Казалось главным — найти то, что от тебя скрывают. Беркли, Ницше, Шпенглер — мы зачитывались ими. С трудом могу себе представить, как наш учитель обществоведения выносил нас с этими ницшеанскими высказываниями. Так же и в вузе. Жизнь действительно уже разделялась: одно дело, что надо сдавать историю партии, марксистско-ленинскую философию, и совершенно другое — лекции Мамардашвили, курс Игоря Виноградова по истории русской философии. Если ты был успевающим и выторговывал себе право свободного посещения, то ты учился одновременно на пяти факультетах, потому что у Азы Альбертовны Тахо-Годи ты слушал греческий, ты слушал Сергея Аверинцева на филфаке и т. д. И это было знание, которое казалось истинным и честным (хотя там тоже было много галimatъи, как я сейчас уже понимаю).

— *Для вас это был уход от общества?*

— Да, в какой-то степени вы правы. Это была романтика “Игры в бисер” Гессе. И темы: “Особенности испанского произношения” (эта тема казалась просто блестящей), “Греческие схолии Максима Грека на рукописях...” (тема моей жены, классика такая), ““Бесы” в русской религиозно-философской критике” (моя собственная тема, закрытая).

— *Человеком-идеалом, идеалом личности стал для вас философ-патриарх Лосев. А был все же и некий социальный идеал?*

— Нет, такого идеала, конечно, не было. И сейчас нет. Не знаю, возможен ли он вообще. По крайней мере, если он и может быть сегодня, то только составным: что-то от этого, что-то от того. Нечто цельное не вырисовывается. Если говорить о нынешних лидерах, то они, конечно, не

могут внушить такую степень доверия, чтобы стать идеалом. Хотя я знаю многих людей, которые не бегают по телеэкранам, серьезно работают и заслуживают самого высокого авторитета. Есть действительно личности. Но они еще, наверное, не востребованы временем, потому что — у меня такое впечатление — слишком богата страна и есть еще много чего разбрасывать.

— Скажите, Сергей Леонидович, когда вы ходили к Лосеву, что вас объединяло? Его самого, Аверинцева, представлявшего уже другое поколение, и совсем молодых, как вы. Любовь к знанию, присущая вам нетрадиционность, некая преемственность во взглядах, которую можно бы назвать школой?

— Мы были абсолютно разные. Связь, конечно, есть. Но я бы сказал так: самым тяжелым для моего поколения было то, что у нас как раз не состоялась настоящая душевная и духовная связь с поколением Сергея Аверинцева. Понимаете, это не линия. Мы по отношению к поколению Алексея Федоровича ощущали себя такими же внуками, но у нас не было отцов. Мы слушали Аверинцева, мы им восхищались. Я очень любил Игоря Ивановича Виноградова и моего научного руководителя в Институте философии Арсения Гулыгу. Но вот духовной связи с ними не ощущал. Мы были разные. В чем эта разница?

Своим поколением я считаю тех, кто родился где-то с 58 по 64 год, 65-й — уже совершенно другие ребята. Когда на четвертом курсе мы сдавали историю западноевропейской философии и я, видно, увлекшись, что-то там наговорил, преподаватель вдруг оставил аудиторию, побежал в деканат и стал кричать: “У нас на факультете белокурая бестия, ницшеанец!” Еще пять лет назад это было бы страшно и неизвестно чем могло бы закончиться. А теперь — скорее смешно. И в том же деканате, кстати, к этому отнеслись спокойно. Все было уже по-другому. Мой курс открыто читал и обсуждал “Раковый корпус”, хотя еще сажали за его распространение. Вот наше отличие от предыдущего поколения: мы уже почти не боялись. А от последующего: мы успели поработать, что-то сделать до 90-го

года. У меня, например, вышли две книги, 90-91-й годы я встретил человеком с определенной профессией, с детьми, даже с каким-то запасом денег, которые получил за свои труды. Была работа в журнале “Литературная учеба”, тираж которого мы с 8 тысяч за год довели до миллиона. У нас уже было что-то за спиной, а у тех, кто пришел позже, этих четырех лет не было. Они сразу окунулись непонятно во что. И сразу уже были никому не нужны. Я помню свой журнал, скажем, 90-го года: все напуганы, непонятно, что с экономикой, очевидно, что развития не будет, но как-то надо держаться. А в 85-86-х у нас было ощущение, что да, есть временные трудности, но на самом деле идет развитие. Вот у них, у следующего поколения, такого ощущения, думаю, уже не было, и поэтому многие, по сути, бежали. Мы, скажем, не уехали в Германию, а они уехали. Им нечего было терять, они не ощутили вкуса созидания, который у нас появился за эти несколько лет.

Веселое было время! Когда мой приятель Саша Ситтель, замечательный писатель, был вызван в райком (а он лауреат, получил премию Ленинского комсомола), его спросили: “Ну что, Александр Юрьевич, будете вступать в партию?” “В какую?” — спрашивает. “У нас одна партия, КПСС”. — “В эту — не хочу”. Через три года вопрос стал уже бессмысленным. Три года назад такой ответ был бы невозможен, а вот то было время такого ответа. Время, когда мы готовили к публикации “Записку о древней и новой России” Карамзина. Безумная неделя, которую я вспоминаю с восхищением: рукописи, списки, часть хранилась в Пушкинском Доме в Питере, часть — в Салтыковской библиотеке, между ними — пирожковая “Минутка”; мы утром ехали в Пушкинский Дом, там работали, потом в “Минутке” обедали, потом отправлялись в “Салтыковку” и сидели там с рукописями. Неделя абсолютного эвристического счастья. Такого потом уже тоже не было. И до этого не было. Никогда.

Думаю, и наше общение у Лосева строилось на эвристическом интересе. Со мной вообще в то время случился печальный казус. Я был одним из лучших студентов на факультете, у которого все хорошо, прекрасно сдает экзамены, но в какой-то момент столкнулся с полным незнанием.



Со своим. Ощущение, что на самом деле я ничего не знаю. И оно было настолько острым, что, собственно, и привело меня к Алексею Федоровичу. Человек должен все зарабатывать сам, своей головой. И это очень интересно. Любовь к знаниям была бесконечна. Все свободное время я проводил в Исторической библиотеке. Приходил к девяти утра, садился у своего окна. На заказ здесь давали в руки не пять книг, как в Ленинке, а сразу двенадцать. Можно было обложиться ими и... Потом, конечно, возник для меня и интерес чисто человеческий. Попав в семью Лосевых, я узнал и семью Флоренских, других совершенно замечательных людей.

— *Таких уже нет?*

— Есть, продолжают, например, встречи в музее Флоренского у Александра Андронникова. Там собирается много молодых. Я из-за своей работы не могу там бывать, очень жалею. А у них каждую пятницу проходят такие интеллектуальные чаепития, где читаются лекции, делаются доклады, потом они спорят, разбирают их. Жизнь продолжается. В 93-м году мы, занимавшиеся русскими философами, испытали жуткий шок. Ведь мы думали, что все трудности — в их запрете, в том, что не разрешали их издавать, а только разреши — это сотни работников, миллионные тиражи. Мы только развернулись, и вдруг выяснилось, что работников — пять человек, больше никому это неинтересно. А тиражи должны быть 2-3 тысячи. Что тоже неинтересно. Шок был и чисто семейный: с этого нельзя жить, ты должен заниматься еще чем-то. Действительно было тяжело.

— *Вы говорите о предназначении человека, о смысле жизни. В чем вы видите смысл собственной деятельности, насколько она креативна? Вы расцениваете ее как просветительскую?*

— Думаю, если мне удастся завершить оба проекта — Православную и Большую Российскую энциклопедии, то я буду считать, что долг свой выполнил. Проекты очень раз-

ные и функции разные. У Православной энциклопедии, несомненно, функция наукообразующая. Дело в том, что нет половины наук, которые есть в нашей энциклопедии. У нас нет реального богословия, очень плохо с церковной историей, нет литургики, исследований в области католичества. Всё надо воссоздавать. И воссоздается это здесь. Просто так провозгласить рождение еще одного института — он бы не работал или стал очередной бюрократической организацией. А тут, с одной стороны, есть жесткие сроки, очень тяжелая работа, но, с другой стороны, есть выход, есть результат, и результат, приучающий к систематичности. Мы привыкли к тому, что энциклопедии — это кодификация, это как бы систематизация уже имеющегося знания. И забыли о том, что первые энциклопедии выступали, наоборот, как создатели знания. И вот здесь то же самое: 95 процентов материалов для русского читателя, в принципе, публикуется впервые, 70 процентов — и для нерусского в первый раз. Прежде этого не было, потому я и говорю о Православной энциклопедии как наукообразующей.

Большая Российская — другая. Я поставил себе задачу сделать максимально честную энциклопедию.

— *Не врать.*

— Да, не врать, причем не только под давлением политики, но и не поддаваясь собственным ощущениям. Проверять самого себя постоянно. Слова “не врать” в моем кабинете как бы начертаны, мне кажется, огненными буквами, потому что люди приходят и спрашивают: “Ну что, опять вранье, что ли, у нас?” “Сами смотрите”, — отвечаю. Для того чтобы не врать, нужно найти верный тон. Когда-то Алексей Федорович говорил, чем страшно рабство: тем, что у раба и рабовладельца абсолютно одинаковая психология. Раб не видит для себя никакой перспективы, кроме той, чтобы стать рабовладельцем. И рабовладелец не представляет иной опасности, кроме той, что превратится в раба. Это зашоренность, сцепка. И когда я смотрю сегодня на то, что происходит в Большой Российской энциклопедии, то вдруг чувствую то же самое: если раньше люди писали “Колхоз имени Берии”, то сейчас они готовы

писать “Колхоз имени врага народа Берии”. Но выйти из этого противостояния “коммунисты — антикоммунисты” не могут. Можно писать “Тютчев — реакционер”, можно писать “Тютчев — либерал”, а надо писать, что Тютчев — хороший русский поэт. И это очень трудно. Можно взять и назвать Савинкова террористом. Но надо сделать следующий шаг — отказаться от рассмотрения нашей истории как истории борьбы революционеров с правительством. Было много чего другого в истории.

— *Вы хотите осуществить поворот в мозгах?*

— Это поворот в мозгах, да. Я всегда могу отличить человека, читающего Брокгауза, от того, кто читает БСЭ. Потому что энциклопедия — мощнейшее идеологическое оружие. Человек уверен, что он берет из той же БСЭ только факты. На самом деле он берет тракторки. И если он начинает мне говорить, что Лозанна — это место, где сейчас закрыта типография Ленина, я понимаю, что он читал. В отборе материала, отборе людей вот здесь, в Православной энциклопедии, мы идем широким и частым гребнем, потому что нам нужно все, потому что не известно практически ничего. А там — в Большой Российской — известно очень много, надо тщательно отобрать события, людей, термины, понятия. Очень хочется написать про молоток и не писать про IT-телефонию, потому что IT-телефония мне еще не понятна. Но я знаю, что нашу энциклопедию люди будут читать через десять лет.

— *Возможно, совсем молодые сейчас вам скажут про “телефонию”, но уже не всегда ответят, кто такие Керенский или Троцкий.*

— Действительно, многие не знают, что такое революция. Но вот опять же мы пошли по самому легкому пути — по пути забвения, потому что еще очень страшно дать реальную оценку, что же тогда произошло. Просто рассказать о реальных корнях еще очень страшно. Мы не хотим в новой энциклопедии оценивать события с точки зрения “правильно” — “неправильно”. Но хотим вскрыть реаль-

ные механизмы того, что творилось с теми или иными государственными, общественными организациями. Это очень тяжело. Вы обратили внимание на то, что в наше свободололюбивое время на 20 лет продлили срок закрытия архивов? Было 50, сейчас — 70. А должно быть 30. Но если я сегодня открою архив даже не 70-х, а 60-х годов, это будет трагедия для очень многих людей. В том числе, допустим, архив Совета по делам религий. Вместе с тем без знания этого действительно идет вранье, причем с разных сторон — как церковной, так и антицерковной. Мне говорят: было вот так. А я-то, читая архивы, вижу разницу... Замечательный пример. Передо мной оказались два архива — уполномоченного Совета по делам религий по Эстонии и дневники нынешнего патриарха (он сам мне их дал). И я их сравнивал. Патриарх близок немцам по своей систематичности, он все время записывал, скольких людей он причастил и скольких еле помазал. В течение двадцати лет в одни и те же праздники он служил в одних и тех же храмах и записывал: в таком-то храме миропомазал 50 человек, причем отмечал, сельский ли это храм, сколько рядом было машин, автобусов, повозок. И вот у меня такие данные с 61 по 81 год. Они разные, но растут. В один год миропомазал 50 человек, в другой — 150. И смотрю официальные отчеты, а в них количество верующих все время снижается. Более того, встречаю в дневниках патриарха запись: был у уполномоченного, он меня спрашивал, куда я собираюсь. Говорю: “Еду в Москву на Синод”. И буквально тут же читаю в архиве: “По моему распоряжению митрополит поехал на Синод проводить работу с...” Понятно. Но люди-то вот той части, церковной, не знают, поэтому мы вместе с сотрудниками архива создаем здесь у себя новый архив на новых основаниях. Пока сделали полную опись того, что есть у них, а им передали опись того, что есть у нас. Так, чтобы исследователь мог хотя бы заказать, прочитать что-то интересующее его и там и тут. Следующий этап — обмен копиями. Мы можем дать, они, к сожалению, не могут (там свои правила).

— *Скажите, Сергей Леонидович, а как вы себя делите между двумя проектами. Можно предположить, что*

*коллектив, с которым вы работаете над Православной энциклопедией, достаточно однороден и близок вам. А коллектив Большой Российской энциклопедии? Возглавляет издание Президент РАН, среди авторов порядка восьмидесяти академиков. Все разные. В их число входит, кажется, и академик Гинзбург, ярый атеист. В принципе, вы и там и тут должны быть “своим”, профессионалом, которому доверяют. Удастся?*

— Виталий Лазаревич Гинзбург, кстати, написал мне письмо и предложил публичные диспуты... Несомненно, в Православной энциклопедии работать легче, но прежде всего потому, что здесь на стыке эвристического и конфессионального интереса удалось собрать очень умную молодежь. Средний возраст — около 30 лет, как правило, после аспирантуры, в основном МГУ (филфак, истфак, философский). Очень высокий образовательный уровень, два, три, четыре языка — норма для сотрудника Православной энциклопедии. Здесь им интересно, для них все заново. Конечно, их еще немножко тешат и первые публикации, и то, что они такие молодые, а их уже приглашают на все конференции, везде почет и уважение. Хотя, должен сказать, многие получают гранты Российского государственного научного фонда — они же и научной работой занимаются, процент кандидатов наук очень высокий. Сейчас и коллектив Большой Российской энциклопедии отстроен так, что никогда здесь не было такого количества докторов и кандидатов, сколько, в частности, есть в моей редакции. Они разные, но, думается, все-таки удалось собрать большинство редакции под тот же эвристический интерес. Хотя, конечно, отсутствие конфессионального рычага притяжения чувствуется.

— *А академический рычаг?*

— Нет, он сейчас не работает. Когда я пришел, средний возраст был 63 года. Сейчас, наверное, лет 40. Появилось, во-первых, немало 40-летних, уверенных уже редакторов, и очень много молодых, неопытных, конечно, но желающих работать. Им интересно. Остались и пожилые редак-

торы, с большим опытом, сейчас учат их, работают парами, тандемом.

У нас, конечно, выстраивается трудная энциклопедия, требующая труда для того, чтобы ею пользоваться. Мы с самого начала решили делать ее не “энциклопедией для народа”, а “энциклопедией для энциклопедии”, на основании которой можно будет потом выпускать облегченные справочники, другие общедоступные издания. А сейчас рассчитываем прежде всего на коллективного пользователя — библиотеки. Безусловно, работать над этим проектом сложнее, но тоже уже за живое взяло. Могу сказать, что, когда заседала, скажем, секция математики, разве что стулья не летали — так горячо господа академики обсуждали проблемы энциклопедии, ее словники. Ну а уж выражений типа “тупица”, “невежда” по отношению друг к другу не сосчитать. Нет, живой интерес есть. Находим хороших авторов, им есть что сказать. Думаю, что и это удастся сделать, а если выпустить обе энциклопедии, то можно будет какое-то время, да, “почтить на лавке”.

— *В принципе можно сказать, что душа не разрывается, взаимопонимание вполне достижимо, вас считают своим человеком и там и там?*

— Мне кажется, что вполне.

— *И чей вы больше?*

— А я ничей, я совершенно нормальный человек. У нас в этом была огромная путаница — путали, допустим, светское и атеистическое мировоззрение или отсутствие любого мировоззрения. А сегодня, мне кажется, мы начинаем понимать, что человек независимо от того, какого мировоззрения он придерживается, может быть или профессионалом, или непрофессионалом, честным или нечестным. Вот и все. Это, конечно, трудно. У меня никогда не было ощущения, что Православная энциклопедия — это что-то сугубо церковное. Она и создается и силами церкви, и силами Академии наук. У нас 90 процентов авторов пред-

ставляют Институт всеобщей истории, Институт отечественной истории, Институт философии, ИРЛИ, ИМЛИ. Собственно, здесь работает весь гуманитарный цикл, а Институт искусствознания при министерстве культуры, музеи и библиотеки — это же тоже наши авторы. Я, скажем, совершенно не удивился, проводя собрание авторов одной из исторических редакций Большой Российской энциклопедии: там 60 процентов — все те же лица. Если человек — специалист по латинской Греции или поздней Византии, он и пишет про позднюю Византию. И там и там.

Да, в Большой Российской энциклопедии гораздо шире сам круг наук — естественные науки, социология, экономика. Но и здесь я чувствую себя абсолютно своим, просто потому, что представлена разноголосица убеждений. Ну, вот авторы первого тома, допустим, по экономике: Греф, Гайдар, Мау, Глазьев, Некипелов, Жуков, Игнатъев — люди абсолютно разных убеждений, некоторые из них — православные. Но все это никак не сказывается на профессиональной полемике. А, скажем, редакцию религиоведения я набрал из Российской академии госслужбы — нормальные люди, нормально работаем.

— *А как вас принимают в церковном мире, в его верхах? Ведь вы же пришли туда как бы со стороны, так сказать, “самоучка”.*

— Вы знаете, я очень близок с Патриархом, это, наверное, и обусловило хорошие условия нашей работы в церкви. Когда мы встретились (больше десяти лет назад), он мне как-то поверил, а я, мне кажется, четко понял, чего ему очень не хватает в жизни. А ему не хватало именно реализации своих интеллектуальных сил. У него очень хорошая докторская диссертация по истории Эстонии и вообще Лифляндии и Курляндии. Он хороший историк, у него действительно много интересов, не сводимых ни к церковной службе, ни к церковной политике, ни к управлению. И тут появились мы, то есть реальная возможность все это реализовать...

— *С идеей издания энциклопедии?*

— Все было немного не так. Мы в 90-м году вместе с отцом Андроником, внуком Флоренского, который был тогда наместником Валаамского монастыря, решили создать научное издательство. Собственно, мы хотели представить Флоренского, Соловьева, Булгакова (потом оказалось, как я уже говорил, что это никому не нужно). Выпустили другие книги, тоже очень тяжелые для читателей — Евсевия “Церковную историю”, полные месяцесловы Востока, Болотова “Историю древней церкви”. В общем, переиздавали ученые книги и, конечно, жили, “положив зубы на полку”, пока не пришла в голову идея издать “Историю Русской церкви” (к 850-летию Москвы). Не буду здесь излагать, как добивались реализации этой идеи, скажу только, что тогда я первый раз и пришел к Патриарху. А в самой работе было два пути — простой и сложный. Простой: взять Макария и переиздать. Мы пошли по сложному: сделали новый огромный комментарий, собрали человек двадцать хороших историков. И когда уже заканчивали “Историю Русской церкви”, пришла идея: делать Православную энциклопедию. Шла огромная, тяжелая, долгая переписка. 1997-й год. Мы выпустили последний том “Истории Русской церкви”. У издательства еще есть какие-то деньги, немного, но есть. У меня большая команда, и надо или ее расширять (тогда денег хватает, но месяцев на пять, в надежде, что переписка благополучно завершится, будет решение и будут новые средства), или всех распустать (оставив пять-шесть человек, маленькое издательство, в надежде, что удастся его потихоньку поднять). В этот момент приходит один мой знакомый, банкир, и спрашивает: “Сколько тебе нужно на то, чтобы сделать всю Православную энциклопедию? Я тебе даю. Начинай”. И он меня обманул, не дал ничего. А мы начали — создали еще больший коллектив, стали заниматься словниками, не выпускали никаких книг, только готовили энциклопедию. И вот 26 февраля 1998 года ко мне приходит бухгалтер и говорит: “Все, последняя зарплата. Больше денег нет. Надо будет что-то говорить людям”. Мы шли на займы, на все, что угодно, но никогда не задерживали зарплату, чтобы люди спокойно работали. У нас было правило: коллектив и не знает, что происходит с финансами;

когда его жизнь стабильна, ему и не важно, какие там у начальства бывают сложности. И мы выплатили эту последнюю зарплату, никому ничего не сказав, 1-го марта, а 3-го марта вышел Указ Президента о государственной поддержке Православной энциклопедии. Вот те два дня я запомнил: как сказать людям даже не то, что они уволены, а что они больше не нужны, что все уже сделанное — снова неудача? Ведь это третья попытка издать Православную энциклопедию в нашей стране. При неудаче все отложилось бы еще лет на 50.

Сейчас мы здесь живем такой, я бы сказал, креативной и очень естественной жизнью. Я твердо убедился: если что-то развивается естественным образом, то это живет, это надо поддерживать. И это приносит отдачу. Если не деньгами, то, так сказать, функциями. Мы, например, взяли на себя и полностью оплачиваем всю работу по церковной тематике в архивах, в ГАРФе и в архиве ФСБ. Пишем статьи о новомучениках и епископах в XX веке. Стали заниматься русскими святыми и убедились, что в течение 70 лет многие рукописи практически не изучались. Соответственно, открыли агиографический совет, выделили определенную сумму для грантов тем светским ученым, которые занимаются рукописями, поддерживаем их. Мы поняли, что накопили огромный потенциал информации, надо ею как-то делиться. И организовали сразу три направления — интернет-портал, радиопрограмму и телепрограмму. Интернет-портал пошел, с 700 какого-то места поднялся на 32-е за год. Значит, им пользуются, это нужно. Телепрограмма тоже пошла — рейтинги выше, чем у предшествующих и последующих программ на этом канале. Значит, кто-то смотрит, интересно, есть отклики. А радио не пошло, как в пустоту.

— *Хочется сказать: человек может все! Если... Вы говорите — “должен быть стержень”. Часто слышишь: “Если есть реальная цель, близкая тебе идея, тема, которая не дает тебе покоя”. И вера — во что? В Бога? В себя, в свои силы?*

— Ну, вера в свои силы — это, по-моему, самолюбование. Ничего не производит. Если бы я был неверующим, моя жизнь —

при заданных возможностях и способностях — сложилась бы по-другому. Думаю, я сейчас руководил бы каким-нибудь PR-агентством и за деньги делал бы конфетку из любого... уж извините. Если бы нужно было просто сделать карьеру. Я не могу сказать, что обладаю какой-то сверхидеей, что родился и рос с идеей издавать энциклопедии. Если уж говорить откровенно, то у меня ничего не получается с первого раза. В отличие от многих. Все делается с трудом. С очень большим трудом. Вот потом, когда получается, — уже получается и развивается. Но так, чтобы был, что называется, фарт — нет. То есть я не помню, чтобы с первого захода был результат. Я возвращаюсь. Я просто считаю, что любое затеянное дело надо доводить до конца. Или убеждаться в его полной неперспективности. Вот если ты убедился — да, ты имеешь право от него отказаться. Но если есть хоть малейшее представление о том, что ты недоделал, ты должен вернуться и доделать.

## В.А. Шмелев

### Первое свободное поколение: социальные фантазеры

— *Прежде всего попросили бы вас представиться: многие, видимо, знают об общественном движении “Первое свободное поколение” и о его руководителе.*

— Если кратко: зовут меня Владимир Шмелев, родился в Москве в 1980 году, окончил Российский государственный гуманитарный университет, поступил в аспирантуру Института русского языка РАН. Образование у меня лингвистическое, то есть нельзя сказать, что оно напрямую связано с моей общественной деятельностью. Хотя, с другой стороны, с лингвистикой связано все, так как занятия ею позволяют лучше сохранить форму мыслительных процессов. А практическая деятельность, о которой я говорю, началась удивительно рано: мне было 16 лет, я только поступил на первый курс. Это было время после избирательных кампаний 95-96-х годов, когда у меня и моих друзей сложилось внутреннее ощущение, что нет политических сил, которые представляют нас, которые хотелось бы поддерживать, которые говорили бы действительно так, как говорили мы, просто собираясь друг у друга, — мы были достаточно сильно политизированы. Ощущение некой пропасти между нашим пониманием того, что происходит, и тем, что видим, картинкой в телевизоре. И мы решили создать свою организацию. Честно говоря, был еще интерес посмотреть, насколько провозглашенная демократическая система позволяет обычным молодым людям самоорганизоваться, создать общественное объединение, начать действительно участвовать в общественной жизни. Тогда и появилось “Первое свободное поколение”. Стало ли это название результатом четкого поколенческого видения мира — не знаю. Сейчас кажется, что да, накопилось мно-

го объяснений. Чем мы отличаемся от других? Тем, что мы первое поколение людей, чье становление, воспитание происходит уже в условиях нового государства, в условиях свободной России. И наше движение — принципиально отличающийся от других продукт общественной деятельности, общественной жизни, поскольку это действительно классическое гражданское объединение, то есть созданное снизу (не секрет, как у нас обычно создаются политические движения и партии). Поэтому я так и дорожу своей организацией, хотя было много предложений и соблазнов — влиться в какую-то партию, стать участником именно существующей партийно-политической системы.

Мы объединились на основе некоего манифеста (у нас это называлось “Декларация”), конечно, с элементами если не радикализма, то эпатажа. При том характерно: если в 96-м году это была небольшая группа друзей, в основном московских студентов, то сейчас наше “Первое свободное поколение” имеет филиалы и отделения в 52-х регионах. Любая партия склонна приводить свои формальные реквизиты, но у нас действительно если не в 52-х, то в 30-ти по-настоящему сильные организации, где такие же молодые люди участвуют в местной жизни и политике, даже пытаются избираться в местные органы власти и предлагать свое видение существующих проблем. Реальные, активные группы, может быть, не очень масштабные — такой задачи не ставилось, — но действующие.

Первые несколько лет прошли в основном под знаком шумных уличных акций и подобного рода мероприятий (при этом отнюдь не бесцельных). Иными словами, сначала решалась задача самовыражения, а потом уже мы стали понимать, зачем, собственно, мы объединились. В нашей “Декларации” прежде всего говорилось о свободе как об очень важной для нас ценности, о гражданских и политических свободах, которые были продекларированы в 91-м году. То есть мы заявляли, что становление нашего поколения начинается с августа 91-го. Кроме того — и это тоже принципиально важно для нас, — мы подчеркивали свою привязанность к нашей земле, свой патриотизм, если можно так выразиться, причем не только в масштабах всей страны, но и региональный и местный патриотизмы. *Роди-*

на и свобода — это две ключевых ценности нашего поколения, мы не видим противоречия между ними, как многие, кто просто живет по другой еще шкале. Причем свободу мы понимаем прежде всего как *ответственность*, которой так не хватает, я это вижу, в современной практической политике. И принципиальный момент — конечно, *многообразие*. Мы совершенно отчетливо понимаем, что как бы успешно мы ни работали, все люди не будут такими же, как мы, — да мы этого и не хотим. Наше поколение — первый прецедент подлинного политического, культурного многообразия, что тоже является нашей ценностью. Мы хотим его сохранить, может быть, лучше сформировав в каком-то смысле его рамки (на самом деле у любого разнообразия есть рамки). И главная наша задача — проекция этих ценностей на тот или иной участок общественной жизни, то, что действительно является предпосылкой любого нашего проекта.

Сейчас мы понимаем, что недостаточно просто объявить себя поколением, — им нужно стать. Не каждая возрастная группа становится поколением в таком историческом смысле, когда говорят, что вот это — “шестидесятники”. Они стали ими не только потому, что жили в такие-то годы. Нашему же поколению, как мы считаем, предстоит провозглашенные в качестве ориентиров ценности наполнить реальным содержанием, сделать так, чтобы они действительно были нашими ценностями, чтобы по-настоящему работали те или иные гражданские политические институты, движимые прежде всего нашей активностью. У нас есть такой шанс, потому что, будучи воспитанными уже новой российской демократией, можно посмотреть на нее как бы изнутри и лучше понять, оценить окружающую реальность как, с одной стороны, нечто абсолютно естественное (мы в этом живем), а с другой — как то, что нуждается в изменениях. По шкале “хорошо — плохо”: вот это хорошо, а это явление кажется опасным. В принципе такая оценка и является единственно возможной во всем мире, однако в России до сих пор еще преобладает совершенно иной подход: “вот так было в Советском Союзе”, “вот так есть на Западе”, “вот так сейчас у нас”.

Складывается впечатление, что в последнее время как бы проведена граница между “шестидесятниками” и поколением, которое сейчас оказалось у власти (в моем представлении это именно поколение, хотя, конечно, там люди разных возрастов). Очень четко эта граница была обозначена 31 декабря 99-го года. Произошел некий исторический момент — и произошла в целом поколенческая революция на всех уровнях власти. Но мы-то уже начинаем рисовать себе не то чтобы границу, а все же некоторую линию между поколением, которое сейчас у власти, и нами. Мы ее видим. Все равно основная масса людей, представляющих политический класс России 91-го года, склонна считать: это плохо, потому что так было в Советском Союзе; это принято на Западе — значит нужно поступать именно так. Или ровно наоборот. Все же подобный подход к политике, к политическим учениям и мыслям — наверное, естественный, выросший именно из советского времени — указывает на то, во что нужно верить, но что не обязательно понимать, что сложно оценить, пропустить через себя и добавить свое.

— *Есть суждение: родившиеся в 80-х — самое многочисленное поколение за последние пятьдесят лет и уже сейчас живущее в принципиально ином, чем остальное общество, информационном пространстве — через несколько лет почувствуют силу и будут диктовать свои условия, потребуют перераспределения властных полномочий, обрушив всю систему власти. Вы согласны с таким утверждением? Это про ваше поколение?*

— Ну, в чем-то... Есть, конечно, предпосылки к тому. К чему мы стремимся? К тому, чтобы приход нашего поколения в общественно-политическую и культурную жизнь связывался с ценностями, о которых я говорил. Да, мы понимаем: ценности местного патриотизма, свободы, единства в многообразии, самостоятельности, ответственности, отсутствия иждивенчества не обязательно должны утвердиться и характеризовать наше поколение потому только, что так распорядилась история. Нет, конечно. Но мы считаем, что у нас есть шанс вместе с этими ценностями

ми прийти и оставить свой след в общественно-политической жизни. Соответственно мы стремимся делать все для того, чтобы как можно большее число молодых людей, участвующих в общественной жизни, эти ценности разделяли, чтобы наши представления стали “визитной карточкой” поколения.

— *Получается? Посторонний взгляд пока видит здесь, да, многообразие, но вызывающее по меньшей мере тревогу. Среди ваших сверстников есть и те, кто привержен идее насилия, даже сверхнасилия, и новые левые, выступающие за революционную идею, и группы, ассоциирующиеся с прежним комсомолом, откровенно возрождающие его лозунги и методы, и многочисленные другие. Есть и вы — “первое свободное поколение”. Единственные в своем роде?*

— Таких инициатив, конечно, было много. Ну, откуда бы взялось наше общероссийское движение? Мы не просто ездили в разные регионы и находили там людей — нашими партнерами становились в общем такие же гражданские инициативы, сложившиеся небольшие организации, молодежные, общественные. Именно на их базе мы уже создавали региональные отделения. Так что инициатив довольно много, просто редко какая из них доходит до уровня общероссийского объединения. Это очень сложно. Но заметьте: в молодежном движении превалируют группы, возникшие снизу, как инициатива, а вовсе не созданные партией для себя. Ведь многочисленные “новые левые” — это тоже не молодежные организации КПРФ. Мне кажется очень важным затронутый вами вопрос: о политическом пространстве, в которое вовлечены сейчас молодые люди. И давайте подчеркнем, что создается некое параллельное пространство. То есть “Идущие вместе” — это более успешный проект, чем молодежное “Единство”. Мы, скажем, в свое время по некоторым вопросам взаимодействовали с СПС, но в любом случае наша организация, по мнению многих, более успешная, чем молодежное крыло “Союза правых сил”, и т.д. На самом деле, как я считаю, это показатель совершенной недееспособности сложив-

шейся у нас партийной системы, ее неестественности, придуманности.

— *Почему все же, на ваш взгляд, усиливаются левацкие настроения у молодых? Есть точка зрения, что одна из серьезных угроз новой Европе — именно левацкие протесты. Набирает силу такой протест и у нас. Кажется, что те, кто опоздал к “разделу пирога”, ничего не получил в ходе реформ, ринулись в революционность, видя в этом для себя единственный путь.*

— Бесспорно, наше поколение (мы сами про себя так говорим, даже мы) — это “поколение не успевших к раздаче”. Мы активны, молоды, и будь мы чуть-чуть старше... Не успели. И можно в этом видеть какие-то корни левых настроений. Но я вижу и другое, находясь внутри этой среды. Молодым людям вообще присуще желание быть левыми. Всегда. Ну, некоторый радикализм. Вроде бы Черчилль говорил, что если ты не был левым в соответствующем возрасте, у тебя не было сердца. Ну и, конечно, мода, потому что именно левые политические объединения связаны, как правило, с молодежной культурой, андеграундом, современным искусством, что всегда более привлекательно и не столь скучно, как традиционное правое мещанство, бюргерство — этакое спокойствие. В случае с левыми я, скорее, вижу истоки культурные. Я сам не был на антиглобалистских, скажем, мероприятиях, но бесспорно — это культурное событие для молодых людей. Фестиваль! Приезжают музыканты, все просто живут на улицах...

— *А это не игра?*

— Игра, конечно. События 1968 года — тоже игра. Но какая!.. Если вдруг в этой массовке небольшая группа, которая уже чего-то хочет, движима действительно некими идеями протеста, революционными идеями, начинает устраивать беспорядки, то получается, что разговор идет обо всех. Я вдруг замечаю, как у многих людей, которых я в общем считал скорее своими единомышленниками, появляется некий элемент симпатии к антиглобалистскому дви-



жению. Дань моде на левые настроения. Это первый момент. А второй момент — политический, может быть, более серьезный — связан с тем, что не исключено: именно левые движения и партии в России, как, собственно, во многом и в Европе, в большей степени будут действительно восприниматься как защитники прав и свобод человека, защитники справедливости, в каком-то смысле и демократии. Нам это еще сложно представить, потому что сразу перед глазами — такой монстр, как КПСС или КПРФ. Должно пройти время. Тем не менее звонки к тому, мне кажется, уже есть. Хотя я думаю, что тяга к какой-то глубинной анархии, перспективы левой идеи, создания оппозиции и прочие вещи сейчас меньше влияют на симпатии молодежи к левым движениям, чем просто некоторая мода.

— *Вы как-то связаны с другими молодежными организациями и движениями, пытаетесь с ними сотрудничать либо, напротив, противостоять им? Или вы стремитесь заявить о себе как о самостоятельной силе и действуете обособленно? Потому, возможно, и менее известны.*

— Естественно, потому что мы — не картинка. Некоторые партии тоже гораздо больше известны, но не будем же мы всерьез утверждать, что в России существует множество полноценных партий. Просто есть некие продукты, проекты, некий заказ. Если ты отработываешь заказ, о тебе сложно говорить с точки зрения обусловленности твоего появления. Ну, возможно, был коммерческий интерес либо это была политическая идея. Заказчик может быть и в администрации президента, не обязательно он должен быть олигархом, хотя часто это сочетается. Такова изнанка той жизни. Как и в молодежных движениях. Мне не интересно, например, рассматривать здесь движение “Идущие вместе”, потому что его появление есть не объективный процесс, а успешно реализованный проект, из которого будут следствия. Они и уже ощущаются. Скажем, в нашей работе на одной площадке: нам сложнее стало разговаривать со многими молодыми людьми во многих учебных заведениях, куда приходили “Идущие вместе”.

Просто потому, что они четко распространили представление о том, что участие в общественной жизни равно мгновенному получению материальных благ. А что вы предложите? — спрашивают нас, ссылаясь на “Идущих”. Вот они, мол, дают то-то, а сколько вы дадите нам денег или каких-то там благ, если мы вступим в вашу организацию... Вот такой подход — плохое следствие. Никаких еще опасных настроений, никакого “криминала”. Но как тут работать вместе? Что касается молодежных группировок типа коммуно-нацистских — мы в общем не пересекаемся. Были ситуации прямых соприкосновений, когда баркашевы пытались приходиться на наши акции. В какой-то момент даже попытались угрожать, звонили. Но все это не очень серьезно, не стали связываться, затянуть нас в какие-то конфликты не удалось. Вот на уровне людей мы пересекаемся, когда видим, что их можно в чем-то убедить, привлечь. Очень важным, например, считаем показать, как рождается фашистская идеология. Я писал такую статью еще в 98-м году, когда никто про тех же скинхедов особенно не говорил и не думал. Мы-то все это наблюдаем — это же наши ровесники, знакомые. Реальная общественная опасность шовинизма бесспорна. Это не мифы из газет и телевидения и не только надуваемый администрацией президента искусственный проект. Назревает такая проблема, и во многом она вытекает из другой, существенной для молодежи проблемы — самореализации, скажем так. Можно было бы занять позицию: нет сейчас возможностей для реализации естественных амбиций, желаний и т.д., потому люди идут в фашистские организации. Но они, такие возможности, есть. Во всяком случае их в десятки раз больше, чем было прежде. Да, часто сталкиваешься с непреодолимой, казалось бы, стеной непонимания, недоверия, недружелюбия. На самом же деле стену можно либо пробить, либо обойти. Если действительно хочется. А у очень многих людей отсутствует видение того, чего они хотят. Вот в этом, скорее, проблема, а не в невозможности реализоваться в связи с ситуацией в государстве и обществе.

И потом — опять же мода, думаю, есть и это. Ее влияние серьезнее, чем может показаться, потому что за каж-

дой идеей, вброшенным лозунгом — широкая рекламная кампания, мнение авторитетных лиц, каких-то значимых фигур. И сами лозунги ведь не просто вбрасываются — они улавливаются в настроениях молодежи. Кстати, и мы считаем важным такой метод работы. Вот сейчас говорят: “модно жить в своей стране”. Это стало модным, но не без усилий, и я за такую моду. Мне хотелось бы, чтобы было модным “участвовать в местной жизни”, и, думаю, мы в том числе можем немало для этого сделать. Здесь, конечно, очень важна ставка на личность, что у нас пока плохо получается. Хотим, чтобы на нашей стороне было больше узнаваемых лиц, чтобы они активнее ретранслировали наши идеи. К сожалению, это не просто — некоммерческий подход сейчас не очень популярен.

— Скажите, Владимир, а на какую референтную группу вы ориентируетесь в своей деятельности? Менялась ли она с течением времени или ее как таковой вообще не существует?

— Мы специально никогда не декларируем наличие такой группы. Есть организации, где говорят: мы ориентируемся на всех. В каком-то смысле — в виде декларации — мы тоже ориентируемся на всех. Но если не лукавить, то реально наши идеи, наши ценности оказываются близкими в основном людям, либо получающим высшее образование, либо уже его получившим. Скажем так: скорее студентам (и гуманитариям, и технарям), чем молодым людям, работающим на заводе. Впрочем, можно говорить и о референтной группе: мы всегда ориентируемся на успешных людей и даже формулируем для себя, кого мы называем “успешными”. Это не те, кто уже многого добился и у кого много денег (об этом лучше судить в другом возрасте и исходя из других критериев). Нас же прежде всего интересуют те, кто, во-первых, стремится достичь успеха и, во-вторых, не стесняется этого своего устремления, для кого это как бы часть его мироощущения.

Как мы понимаем сам успех и что значит его достичь? Успешный человек — это не иждивенец. Это тот, кто мыслит. Это самостоятельный человек. Человек, который

свою материальную и/или духовную жизнь, ее качество связывает с собственной активностью, деятельностью. Он на что-то нацелен, но достичь этой цели стремится своими усилиями.

— Но вы, видимо, реально сознаете и то, что таких деятельных, самостоятельных, целенаправленных людей потенциально не так уж много. Даже крайне мало — 3-5 процентов населения, как утверждает один из авторов этой книги. Просто в силу природы человека: остальным дано быть лишь исполнителями.

— Ну, самостоятельных и успешных людей, думаю, больше. Скорее, даже предприимчивых. Но, конечно, это небольшая прослойка — в чем и проблема, признаваемая многими странами. В обществе должно быть больше предпринимателей во всех смыслах этого слова (не только применительно к коммерции). В Европе существует множество программ, институтов, “бизнес-инкубаторов”, способствующих развитию предпринимательства. И все равно проблема решается сложно, деятельных людей не хватает. Что говорить о России, где они сейчас столь нужны и где их столь очевидно мало. Мне кажется, важно все-таки стимулировать людей к предпринимательству (я не считаю, что это совсем уж Богоданная вещь), такая жилка может развиваться, желание — возрасти, стоит порой лишь подтолкнуть человека. А если он (как случилось и с нами), пройдя много раз по пути реализации своих идей, наткнется на бетонную стену, то в итоге он вряд ли воспрянет от равнодушия. У человека опускаются руки, а иные спиваются. Кто-то следующий, возможно, и проломит ту стену. Но все-таки нужно понимать, что для общества, для государства вот эти предприимчивые люди — основная ценность, основная движущая сила. У нас же все еще принято воспринимать их как тех, кто “высовывается”, кто “считает себя умнее других” и кого нужно поэтому “душить”.

— В этом вашем намерении утверждать в людях — и прежде всего молодых — деятельное начало, стремление к успеху вы можете опираться на молодежную политику,

*разрабатываемую на официальном уровне? Не так давно, например, ее рассматривал Государственный совет. Характерно, что в преамбуле к предложенным документам говорилось: молодежь не понимает, в каком мире она живет, поэтому мы выработали доктрину, дабы разъяснить... Характерно и то, что большинство собравшихся раньше были активными деятелями ВЛКСМ...*

— ...и считают, что нужно возродить положительные стороны советского опыта. Все так. Это типично. Я всегда задаю вопрос: а что такое “молодежная политика”? Пр нее можно говорить очень долго. А если кратко, то скажу только, что любое обращение органов власти к проблемам молодежной политики мы воспринимаем обычно с ужасом. То есть лучшее для нас — чтобы вообще не было таких обращений и обсуждений. Каждое обсуждение грозит десятками, сотнями совершенно, с нашей точки зрения, бесполезных инициатив, проектов и, естественно, безумной растратой бюджетных средств. Не важно, что здесь причина, что следствие — тем не менее.

— *Вас не привлекают к таким обсуждениям?*

— Нет. Но когда Государственный совет решил озаботиться проблемой молодежной политики, мы тоже, конечно, сформулировали свои предложения, передали их в рабочую группу. Я не хочу никого обидеть, там много людей, к которым я хорошо отношусь, считаю своими коллегами, некоторых даже друзьями, тем не менее сам по себе их подход к проблеме... Ну, прежде всего — что же такое “молодежная политика”? Никто не отвечает на этот вопрос. Скорее всего и главным образом она должна быть связана с тем, что в какой-то момент, в таком-то возрасте происходит процесс социализации — вхождения человека в общественную, гражданскую и политическую жизнь. То есть государство определенным образом, в рамках своей политики в том числе, озабочено тем, чтобы облегчить молодежи подобное вхождение. Если это так, то давайте попробуем сформулировать, чем именно оно готово помочь и какого именно гражданина ожидает получить. И если мы

просто начнем подходить к этой проблеме более-менее последовательно, то увидим, в принципе, молодежную политику как некую систему координации работы разных министерств и ведомств именно в аспекте социализации людей. Нужно ли для такой координации создавать отдельный государственный комитет и целые толпы чиновников во всех регионах, как предложил Госсовет, полномочного представителя президента по вопросам молодежной политики в каждом федеральном округе, советника президента и так далее? Честно говоря, мне кажется это нерациональным. Ну, если все они будут работать на общественных началах — пусть каждый занимается чем хочет. Но за счет налогоплательщиков? Сейчас молодежная политика представляет собой попытку сформировать некие рамки: если ты молодой, ты должен — я это и по себе чувствую — заниматься проблемами наркомании, спорта, ну, в какой-то мере образования... Что еще у нас есть такое сугубо “молодежное”? А вот что по большому счету гораздо важнее, чтобы молодые люди начинали формировать свой взгляд на решение проблем страны, из которых в том числе проистекают проблемы наркомании и все прочее, чтобы принимали участие в их решении — вот об этом как бы никто не думает. Нельзя отдельно рассматривать экономические проблемы и отдельно — молодежную политику. Они действительно взаимосвязаны — такая горизонтальная вертикаль. Возможно, молодежная политика будет в большей степени посвящена участию молодых людей в общественно-политической жизни за счет, скажем, каких-то специальных кадровых программ, которые стимулировали бы их активную деятельность в местных органах власти. Ну, я условно говорю, идея понятна. Давайте ее обсуждать. Но что самое удивительное (просто небольшая ремарка): любые преамбулы к любым такого рода документам постоянно отсылают к советскому опыту. Ну, это как бы хороший тон. Непременно нужно сказать, что вместе с комсомолом, пионерией мы потеряли много хорошего, надо бы возродить их положительные стороны. Совершенно ведь бессмысленный разговор. Люди явно не понимают, что живут в условиях абсолютного другого государства, и даже просто формы работы ВЛКСМ и пионе-

рии для него уже неприемлемы. И молодежь другая, и действуют другие законодательные нормы.

Надо заметить, что в большинстве стран молодежная политика существует и формулируется на государственном уровне. Но примерно в той логической цепочке, о которой я говорю. То есть ее задача состоит главным образом в координации действий разных ведомств, в том, чтобы молодежный аспект был отражен в каждой вертикали государственной политики. А не в том, чтобы выделить еще одну вертикаль.

— *Нередко можно слышать, что реформы нарушили естественную ротацию поколений, что происходит некий разрыв, нарушается традиционная преемственность поколений. Вы ощущаете это — тем или иным образом — на себе?*

— Нет, конечно, это не так. Дело не в том, что смена общественного строя — такое малозначительное событие, чтобы действительно не повлиять в том числе на преемственность поколений. Конечно, отмечается некоторая революционность по отношению к ряду стереотипов. И она позитивна. Мне кажется, у нас как раз есть шанс олицетворять разумное сочетание, с одной стороны, бесконфликтного, доброго, преемственного отношения к предыдущим поколениям, а с другой — отказа от многих стереотипов и стремления предложить какие-то новые взгляды на существующие проблемы. Но есть и естественные различия во взаимоотношениях поколений.

Ну, вот собственное наблюдение. Когда я выдвигался в Московскую городскую думу, за меня голосовали в основном либо молодые люди, мои ровесники и чуть старше, либо пожилые, и как-то очень скептически ко мне относились представители среднего поколения, которое сейчас у власти. Может, более ревностно воспринимают таких, как я? Не знаю, но как ни странно, в чем-то у нас больше взаимопонимания с людьми старшего поколения, чем с этим средним. На мой взгляд, оно безумно цинично (возможно, я ошибаюсь, но есть такое внутреннее ощущение). Мы в большей мере верим не только в возможности рынка, но и

в некие вечные ценности, делая акцент, скорее, именно на них. В своем стремлении возвращать и утверждать эти ценности мы, возможно, выглядим, на их взгляд, смешно. Как, наверное, воспринимаются ими и люди старшего возраста. Но это опять же связано с нашим менее прагматичным подходом.

— *А нынешние 16-летние для вас — уже другое поколение?*

— Я вижу школьников старших классов, и мне кажется, что они живут совершенно в другой стране. То есть, наверное, все-таки в нашей, потому что столь же сильное, острое ощущение часто возникает и по отношению к предыдущим поколениям. Среднее точно живет в некоем демократизированном капиталистическом Советском Союзе, скажем так. Новые формы как бы приняли, по сути же — все равно там. А младшие... Может, они и не в другой стране, но во всяком случае их и не назовешь свободным поколением, вернее, поколением свободы. Для нас это все же в каком-то смысле выстраданная вещь, мы ее ценим. Для них — нечто естественное, в одном ряду со всем другим. Скорее, ощущение абсолютной внутренней раскованности. Почему-то представляется, что с точки зрения политической это поколение будет гораздо более левым. Пока между нами нет четкой границы, позже, возможно, начнут проявляться возрастные различия. Но разрыва как такового не будет, потому что нет столь значимого события, которое бы нас разорвало.

— *А как вы отнеслись к такому событию, как теракт 11 сентября 2001 года в США? Это произошло как раз в период вашего гражданского становления, “социализации”, как вы сами говорите. Не повлекло ли это за собой каких-либо перемен в вашей настроенности, программных положениях?*

— Мы это восприняли так, что обозначилась в каком-то смысле финальная точка становления нашего поколения, продолжавшегося как раз десять лет — с 1991 по 2001 го-

ды. В эти годы многие поверили в фукуямовскую теорию “конца истории” — мол, демократия победила по всему миру, войн больше не будет и т. д и т. п. После 11 сентября стало окончательно ясно, что это миф. Теперь взбудораженные умы многих людей захватила хантингтоновская концепция “столкновения цивилизаций”. Она красиво все объясняет, но, на мой взгляд, и провоцирует обострение противоречий. Вот и у нас все чаще появляются публикации из серии, условно говоря, “начинают с белых платочков (я имею в виду борьбу некоторых мусульман за право фотографироваться на паспорт в хиджабе), а потом взрывают здания Всемирного торгового центра”. Так нельзя. Это ведет к стремительному ущемлению прав человека. Мне, конечно, ближе видение мира как находящегося на трех разных стадиях своего развития. Современный мир, постсовременный и досовременный. Конфликты происходят именно там, где эти миры сталкиваются. И представляется крайне важным сохранять баланс между борьбой с терроризмом, с одной стороны, и неущемлением прав граждан, отсутствием дискриминации людей по национальному, религиозному и иным признакам — с другой. В принципе все инструменты, институты демократии, позволяющие сохранять такой баланс, существуют. Просто мы уже сейчас видим, насколько это сложно. Но наверняка возможно. А значит, реально то, что как раз мы, в России, сможем предложить лучшие — в рамках демократической системы — формы сохранения баланса. Давайте пробовать это делать.

— *Вы пытались представить будущее нашей страны и мира? Как вообще вы относитесь к проблеме социальных идеалов?*

— С опаской. Я вообще всегда затрудняюсь рисовать некий образ будущего. Опасно заболеть этим. Строить настоящее, глядя на абстрактную картинку будущего, — утопия. Я хочу его строить, исходя из реальности. При этом, конечно, я могу сказать, на что мне хотелось бы надеяться, какой выбор России считал бы предпочтительным. Но все это, естественно, в русле нашего общего направления и публично обсуждаемого на более компетентном уровне.

— *Нет ощущения, что в последнее время теряется интерес к самим понятиям “свобода”, “демократия”, которые для вас являются ключевыми? Даже некоторой их дискредитации в общественном мнении. Во всяком случае очевидно, что демократическим партиям все труднее работать в меняющихся условиях, приобретать новых сторонников. Ниша, которую они занимали, как бы полузакрывается. Ваше движение, идущее в том же русле, не испытывает подобных проблем, не несет потерь?*

— Наоборот. Проблема, скажем, Союза правых сил — это именно проблема Союза правых сил, то есть того, как устроена, как действует данная организация. Но не проблема социальной базы. В чем изначально было наше принципиальнейшее расхождение с СПС и почему мы не стали его частью, не посчитали возможным реализовывать себя главным образом внутри партии? Потому что Союз правых сил ограничился 7-8 процентами населения, он работает только с той группой, которая за него голосует, хотя, бесспорно, идеи, выдвигаемые правыми, вообще правоцентристским движением, с моей точки зрения, разделяют как минимум 40–60 процентов населения. Очень большую роль тут играют и лидеры, и имидж, и то, как идеи доносятся до людей, как ими воспринимаются. Иногда хорошие инициативы превращаются едва ли не в фарс. Обидно. Мы хотим, чтобы в нашем поколении правые идеи разделяли не 7–8, а 78 процентов. Именно потому намерены работать, как я уже говорил, в несколько параллельном пространстве. Даже если заявить: “Мы — СПС”, то дети родителей, голосующих за СПС, будут наши, а дети, которые на самом деле тоже наши, но родители которых голосуют за КПРФ, к нам вряд ли пойдут, потому что имидж партии здесь уже связывают с определенными лицами, событиями и т. д. Один мой друг предложил делить наши политические силы еще и на “реставраторов”, “охранителей” и “прогрессистов”. Не хочу здесь много говорить о такой классификации (тем более, что она не моя и не в русле моих мыслей), но вот я вижу, что и СПС, и “Яблоко” больше живут тем, кто кого в девяносто таком-то году не позвал в правительство, прав ли

был Чубайс со своим вариантом приватизации, какие конфликты побудили Явлинского обидеться на СПС и т. п. Это ведь не только личное. Речь не о том, что необходимо нарисовать ту самую идеальную картинку будущего. Но прогрессивные партии, как мне кажется, должна объединять некая прогрессивная, направленная в будущее концепция развития государства и общества, которая может быть предложена и которую — очень вероятно — будет поддерживать большая часть населения. О таких вещах пока, к сожалению, серьезно не говорят, во всяком случае не делают на этом акцент. А чаще продолжают отвечать на старые вопросы. Да, важные, ключевые. Частная собственность — будет, не будет? Понятно, что в каком-то смысле страна уже ответила на этот вопрос, по крайней мере с нашей точки зрения. Основные права, политические и гражданские свободы — в общем, страна ответила и на этот вопрос. Либеральная экономика — в основном есть ответ. Но так называемые демократические партии продолжают за это бороться. Зачем? Предложите уже ответы на вызовы, которые существуют сейчас.

*— Многие проблемы молодежи — наркомания, алкоголизм, уход в “виртуальное пространство” часто оцениваются как “бегство от общества”. Вы, напротив, нацелены на конструктивное решение его проблем. Как вы сами рассматриваете свою общественную “миссию”? Кто вы в собственных ваших глазах, по собственным оценкам? Политики, общественные деятели, практики или некие любители на столь широком сейчас “политтехнологическом” поле?*

— Мы — “социальные фантазеры”. К сожалению или к счастью, но просто в какой-то момент я понял, что надо четко себе в этом признаться. И мне это нравится. Мы попытались провести самоанализ и пришли к выводу: мы действительно “социальные фантазеры”, потому что иных, рациональных причин участия в общественно-политической жизни в таком возрасте не существует. Куда прагматичнее пойти в бизнес, если же “тянет в политику” — начать заниматься ею лет через десять и сделать карьеру. А

“социальные фантазеры” живут все же идеей реализации ценностей. “Фантазеры” — основная сила нашего объединения. Настоящая удача, когда вдруг среди новых активистов обнаруживается такой “фантазер”. От них исходят наши инициативы, практические проекты (например, мы долго бьемся над введением полноценного местного самоуправления в Москве, что считаем основой любого демократического общества). Вокруг них выстраивается структура организации — не классическая партийная, а по содержанию направленная. Группы, движимые несколькими “фантазерами”, включают и тех, кто готов стать реализатором, менеджером их проектов, и более широкий круг просто активистов.

Конечно, было бы лукавством называть себя профессионалами. Скорее — любители. Но есть множество людей, к которым мы прислушиваемся, которых читаем. Очень важна экспертная помощь — все-таки способ не просто быть дилетантами, а посмотреть, как в экспертном сообществе (я не говорю “науке”, потому что не стану все же называть это наукой) принято объяснять те или иные процессы. Если представить себе основной костяк наших “социальных фантазеров”, то среди них далеко не все хотят быть публичными политиками. Есть люди именно с амбициями экспертов — это же стало профессией, воспринимается как профессия. И они постоянно участвуют в экспертной жизни (работе всяческих семинаров, конференций, интернет-дискуссий), следят за публикациями других и сами пишут. Целый такой пласт жизни и очень конкурентный рынок.

*— Когда вы обращаетесь к помощи экспертов, вам при этом важно, как объяснить тенденции и явления либо — каким образом можно скорректировать общественные процессы и можно ли это вообще?*

— Или просто все расставить по полочкам? По-разному бывает. Ребята с амбициями экспертов более предрасположены к тому, чтобы все объяснить. Потенциал же влияния на процессы главным образом кроется в возможностях публичной политики. Вероятно, поэтому я вижу

себя скорее политиком и в общем уже ощущаю себя политиком. Хотелось бы, правда, быть более профессиональным и компетентным. А знаний, образования постоянно не хватает. Надо глубже уходить в обществоведческую тематику, знать ее сегодняшнее состояние, и это на всю жизнь, потому что в политике нельзя не быть современным.

До чего реально доведут нынешние мои “социальные фантазии” — сложно загадывать. Но, конечно, у меня есть амбиции, которые позволяют и в сложных ситуациях не опускать руки.

## М.Ф. Черныш

### Прогнозировать будущее невозможно

— Михаил Федорович, вам как социологу близок сегодняшний дискурс о взаимосвязи глобальных процессов и особенностей включения в них России, о кризисе цивилизации, переходе человечества в новое качественное состояние? Вы озабочены этим?

— Если честно, то, находясь здесь, в России, в Москве, можно сказать, на мировой периферии, я этого качественно нового состояния человечества не отмечаю. Да, проявляются важные тенденции, идет развитие информационных технологий, письма теперь можно друг другу слать по электронной почте, в Интернете газеты читать. Но вот качественно нового состояния я не наблюдаю. Пытались продавать товары по Интернету, но ничего не вышло. Все равно люди любят пощупать вещь руками. Читать книги, получая их из электронных библиотек, невозможно, потому что книгу тоже нужно держать в руках, переворачивать страницы. Видимо, существует некий предел, до которого человеческую жизнь можно менять, по крайней мере в короткой перспективе. Идет, конечно, процесс глобализации, а значит, все, что происходит в современном мире, влияет на нашу жизнь. Но в самой этой жизни за последнее время произошло столько всякого рода катаклизмов, что вычленив момент глобализации, определить, в чем он, собственно, состоит, довольно сложно.

Я озабочен, скорее, проблемами нашего российского общества. Мы, мои сверстники, действительно за недолгое время пережили четыре эпохи — могу судить по собственной жизни. Первая — 60-е годы, такое золотое детство, пионерлагеря, спокойствие, которое царил во всем

обществе на фоне явно невысокого уровня жизни, но некоторой устойчивости бытия большинства людей. В какой-то момент я, наверное, как и многие молодые, был уверен в преимуществах социализма. Так получилось, что в студенческие годы, будучи на четвертом курсе института иностранных языков, поехал по обмену в Америку и проучился там год. Это был период окончания молодежной турбулентии конца 60-х, все еще бурлило, полная свобода нравов — прямо скажем, нетипичный опыт для советского человека. Нам читали курс *social sciences* — наверное, у приглашающей стороны был свой умысел в том, чтобы учить нас социологии. Думаю, они хотели немножко расшатать наше мировоззрение, по крайней мере, лишить его однозначности. Плюс к тому в нашем собственном институте сложилось довольно развитое студенческое сообщество, где циркулировали запрещенные “Доктор Живаго”, “Котлован”, зарубежные журналы; “Архипелаг ГУЛАГ” я прочитал в 20-летнем возрасте. Так что, наверное, я перестроился несколько раньше, был весьма критически настроен по отношению к советскому строю и принципиально в тех условиях не делал быстрой карьеры. А потом началась (по моему исчислению) вторая эпоха, к которой я оказался уже подготовленным: перестройка. Было славно, что наконец подули свежие ветры, что-то меняется в обществе. Вместе с тем у меня возникало ощущение, что надежды, связанные с перестройкой, не могут оправдаться. Не знаю почему, какой-то инстинкт. Будто выбили некую планку из-под устоявшейся системы, и мы несемся в бездну... В 1991–1992 годах началась следующая эпоха — я бы сказал, такого общества-казино, в котором каждый выживает как может и где все играют в свои игры. Ну а сейчас — четвертая эпоха.

— *Как вы ее характеризуете?*

— Наверное, эпоха относительной стабилизации и консолидации, “собирания камней”. Рано или поздно она должна была наступить. Я не знаю, как на фоне таких катаклизмов вычленишь ту же глобализацию, — если вернуться к вашему вопросу. Мне приходилось работать с до-

статочно продвинутым слоем нашего общества — менеджерами, и я обратил внимание на то, что если они говорят о глобализации, то в основном с точки зрения некоторых перспектив. На сегодняшний день в большинстве своем — я именно о большинстве, потому что существует и меньшинство, — они не включены в этот процесс. Да, у них есть Интернет, еще какие-то атрибуты современного информационного общества. Но это все. Сказать, что они едут сегодня в США договариваться о поставках стали, а завтра связываются с “Фольксвагеном”, закупая там двигатели для машин или что-то еще, — нельзя. Они все равно живут в мире, где оборудование устарело, где изготавливают устаревшую продукцию. А если говорить о других областях, например о торговле, то здесь они вообще побаиваются глобализации.

— *Но вовлеченность в процесс глобализации все-таки объективна.*

— Ну да, безусловно. Хотя я не стал бы рассматривать это как некое абсолютно новое явление. Все началось, наверное, с “оттепели”, с того времени, когда на советских экранах появились иностранные художественные фильмы, а на полках магазинов — западные книги, когда имена зарубежных писателей, актеров стали обиходными, популярными в нашем обществе. Вот тогда, по мере постепенного включения в мировую культуру, обретения населением новых ценностей, уже можно было бы говорить о нашем вовлечении в процесс глобализации. А под новыми ценностями я подразумеваю прежде всего ценности потребления — консюмеризм. Наше общество становилось консюмеристским, ориентированным на потребление.

— *Уже в 60-е годы?*

— Да, эволюция началась в 60-е годы. Безусловно. Именно тогда на съезде партии было сказано, что главная цель КПСС заключается в постоянном и неуклонном подъеме жизненного уровня трудящихся. Поменялись приоритеты.



Если раньше речь шла о мировой революции, коммунизме, достижении социальной гармонии, то теперь — о подъеме жизненного уровня как главном законе социализма. По сути, было объявлено, что да, коммунизм существует только как горизонт, а достижимой, реальной, отвечающей интересам и потребностям большинства населения целью является рост жизненного уровня. Началась переориентация общества на консюмеристские ценности.

— *То есть вы считаете, Михаил Федорович, что у нас шло (и идет?) эволюционное развитие? Никакого качественного скачка, никаких “свежих ветров” перестройки — просто новый этап эволюции общества?*

— Я считаю, что да. Перестройка явилась не столько началом чего-то, сколько завершающей фазой того процесса, который обозначился значительно раньше.

— *И был инспирирован КПСС? Вы не восприняли ту же перестройку как резкий поворот, как событие, определяющее судьбу вашего поколения?*

— Нет. Я воспринял ее как пролог к какому-то будущему катаклизму. Стало очевидно, что реактор разгоняется и рано или поздно рванет. А что касается моего поколения, то у меня нет этого “ощущения поколения”. Я понимаю, что имеется в виду, когда говорят о “шестидесятниках”. Речь идет о Евтушенко, Окуджаве, других известных личностях. А вот масса населения? Она не имела к этому никакого отношения.

Некоторый жизненный опыт и социологические штудии — даже не знаю, что больше, — подвигли меня к тому, чтобы воспринимать широкие обобщения скептически. Я вижу: человек обыкновенный, рядовой живет, как Акакий Акакиевич, совершенно другими интересами. Есть у него шинель — и хорошо. У него нет того верхнего этажа, в котором можно жить интересами поколения. И он не принадлежит к поколению.

— *А как у вас насчет верхнего этажа?*

— У меня какой-то верхний этаж есть, но в нем концепция поколения является предметом, как я сказал, скептического рассмотрения. Возможно, эта категория относится только к интеллектуальным слоям, которые артикулируют и вырабатывают определенную систему ценностей. Ведь люди если и говорят в быту о поколениях, то в сугубо демографическом плане. Но поколение в том смысле, в котором вы употребляете это понятие, не является категорией демографической, вы подразумеваете все-таки некоторый ценностный план. Но большинство людей не живут идеями. В свое время я довольно плотно занимался этой проблемой. Когда только начинал работать в институте, меня специально отрядили в библиотеку для изучения соответствующей литературы. Я прочитал почти все западные работы, от Фойера до Айзенштадта, месяцами собирал информацию о поколениях. И понял в итоге, что их нет. Есть, конечно, в рефлексирующем классе попытка идентифицировать себя через поколение, причем с совершенно явной идеологической подоплекой. Люди говорят: “Мы отличаемся вот от этих саблезубых тигров, от зловредных партийных чиновников прошлого, потому что мы более вольные, более свободные и хотим — в отличие от них — гуманизировать общество”. Но это именно идеологическая подоплека, идеологический посыл, который используется для вполне конкретных целей. Рефлексирующему классу свойственно стремление объять мир посредством общих понятий, осмыслить его в категориях (а “поколение” — прекрасная категория, через которую можно понять мир). Но, используя понятия, раскрывающие ценностный план, рефлексирующий класс глядится в зеркало. Не более того. Словом, я против деления общества по какому-то поколенческим вертикалям.

— *Обратимся к вашей основной теме. В среде социологов вы известны как исследователь социальной структуры общества, процессов его дифференциации. Вы занимаетесь этим сейчас в силу инерции, необходимости, или тут вами действительно движет научный интерес, личная заинтересованность в углублении анализа этой темы, которая за последнее время, несомненно, видоизменилась?*

— Структурные проблемы меня серьезно интересуют, и прежде всего потому, что в этом я вижу некую ячейку анализа нашего общества, его нынешнего состояния. Уровень социальной дифференциации, который мы сейчас наблюдаем, — это ключевая проблема, обрастающая массой других проблем. Например, проблема среднего класса. Почему в России нет среднего класса? Ведь нельзя же говорить о том, что у нас недостаточно ресурсов — это неправда, у нас довольно богатое общество. Между тем именно средний класс может обеспечить в обществе некий уровень стабильности и быть референтной группой по отношению к низшим классам. Человек всегда мечтает о чем-то достижимом. Скажем, стать миллиардером — мечта ведь совершенно пустая. А вот получить образование, войти в средний класс, если он будет равен тридцати процентам населения, — это уже вполне реальная цель для тех, кто действительно хочет чего-то добиться, имеет талант, склонность к предпринимательству, желание учиться, стать образованной личностью. Почему нет? Но это вряд ли реально, когда общество поляризовано. Получается, что, когда мы говорим об уровне социальной дифференциации, мы говорим о среднем классе; если мы говорим о среднем классе, то просто обязаны сразу говорить о государстве и системе распределения, которая в нем существует, о ценностях общества в целом, о различных формах мобилизации ресурсов, об институтах. Проблема социальной дифференциации — это еще и проблема формирования определенной системы ценностей, достижительских ориентаций. От проблемы социальной дифференциации, от идеи социального равенства — к другим идеям и проблемам. Вот это меня интересует.

— *Что, на ваш взгляд, устарело, а что действительно перспективно в таком анализе?*

— Скажем так: в нашей науке сложился определенный набор парадигм и инструментов анализа; надо задействовать его полностью, а не привязываться только к какому-то одному методу или одной парадигме — вот главная идея. Если общество по сути своей является классовым, то таковым его и надо называть. Мы сейчас классовое обще-

ство, уровень социального неравенства предопределяет наличие в нем замкнутых социальных групп, каждая из которых имеет свой способ жизни и свою систему ценностей. Различны формы представительства их интересов в институтах государства. Если взглянуть на Государственную думу и задуматься: чьи интересы воплощают те партии, которые сейчас в ней представлены, скажем “Единая Россия”? Среднего класса? Нет, интересы бюрократии. А Коммунистическая партия? Опять-таки интересы бюрократии, никак не рабочих. Она почти всегда подписывалась под бюджетами, в которых интересы рабочих не фигурировали, и поддерживала документы, которые шли вразрез с этими интересами. Тоже партия бюрократии, но другой — бюрократии среднего уровня, скорее провинции, нежели федеральной, московской.

— *Служащих, чиновников, которых обычно как раз называют средним классом и вместе с тем (во всяком случае в быту) — бюрократами?*

— Нет, я бы развел эти понятия. Средний класс — это, скажем так, класс специалистов, занятых в рыночных отраслях экономики, в то время как служащий, с моей точки зрения, выполняет какие-то рутинные операции. Специалист — это человек, способный генерировать идеи, управлять производственными процессами, находить решения сложных проблем. И это именно та категория людей, которая составляет большинство среднего класса; плюс менеджеры достаточно высокого уровня, управленцы — вот его ядро. Бюрократия же в России, на мой взгляд, — совершенно отдельный класс. По целому ряду причин, и прежде всего потому, что бюрократия, выражаясь языком Маркса, — класс для себя. Осознав собственные интересы, она демонстрирует высокий уровень социальной активности, продавливая нужные решения через государственные органы, используя для этого систему общественных организаций.

— *Вы говорили, что для общества хороший знак, если средний класс составляет минимум 30 процентов. Каково положение сейчас?*

— Средний класс — это примерно 10 процентов, и если смотреть именно с точки зрения социального состава, пропорций, то бюрократии в нашем обществе тоже около 10–15 процентов.

— *Вы выделяете буржуазию как класс?*

— Конечно. Крупная буржуазия составляет в российском обществе сейчас, думаю, 1–2 процента. Если говорить о сложившейся в последнее время структуре, то надо упомянуть и так называемый старый средний класс — мелкая буржуазия, по Марксу. Сейчас она занимается, скажем, тем, чем занималась всегда, мелкой торговлей и услугами. На сегодняшний день она составляет 2–3 процента населения. Безусловно, есть класс наемных рабочих (процентов 30) и крестьянство (15–20 процентов).

— *Наемный рабочий или просто рабочий — какое различие?*

— Один трудится, скажем, на промышленном предприятии, другой — индивидуально, причем имеет достаточно низкий уровень квалификации. Такой класс существует, но в российском обществе это то, что называют “слабым классом”, — он раздроблен, не имеет своих общественных организаций, вожakov, лидеров. Класс в себе, как и крестьянство, которое, на мой взгляд, находится в самом тяжелом положении. Если в прошлом у крестьян были какие-то каналы социальной мобильности, возвышения, была система социальной протекции со стороны государства, то сейчас они всего этого лишились. И вообще о них, об их проблемах почти не говорят. Они не есть часть структурного дискурса, даже в социологической литературе. Исчезли.

— *А наша бывшая интеллигенция — учителя, врачи, ученые, так называемый промежуточный слой?*

— Социальные слои — это совершенно другой подход. Существует концепция стратификации, и вот в рамках

этой концепции вполне допустимо использовать понятие “слой”. Раньше пытались выявить слои внутри классов, но, на мой взгляд, это была очень натянутая схема. Здесь мы все-таки должны использовать понятия “класс” и “группа внутри класса”. А наша бывшая интеллигенция разложилась, распалась на разные составляющие. Небольшая часть откочевала в средний класс. Большинство осталось на положении социальных маргиналов и сейчас не представляет собой какого-то отдельного класса. Вот, собственно, все, что можно о ней сказать. Распавшиеся пока находятся в некоем подвешенном состоянии, не очень понятно, что с ними будет. На Западе, например, их принято называть потенциальным средним классом: либо им удастся сохранить свою квалификацию и квалификационный ресурс и, каким-то образом применив его, войти в средний класс, либо они откочуют в другие социальные группы.

— *А маргиналы как таковые входят в нынешнюю структуру?*

— Маргиналы — да. Они, может быть, не являются классом в подлинном смысле слова, но существует еще такое понятие, которое почти непереводаемо на русский язык, — *underclass*. Это люди, которые вообще находятся за рамками классовой системы, причем снизу этой системы. Крайне атомизированная группа.

— *В нашем разговоре не присутствует еще одна социальная группа — элита. Каково и где ее место?*

— Тоже очень туманный термин. Кто-то пытается представить элиту как некую единую группу. Кто-то изучает высшие слои бюрократии и буржуазии, считая их элитой. Существуют и другие достаточно высоко позиционированные слои, которые можно было бы рассматривать как элиту, скажем творческая элита, военная элита. Но я этот термин не употребляю, и в классовую структуру такая категория не входит.

Процесс структурирования российского общества только развивается, начиная примерно с 1992 года. Ведь

советское общество было в большей степени статусным, нежели классовым, то есть состояло из групп, определяемых тем или иным статусом. Рынок труда не выполнял дифференцирующей роли, государство присваивало различные статусы разным социальным слоям общества. Собственно, так и существовала советская система, если кратко. А вот сейчас, с появлением реального рынка труда, с началом дифференциации по степени владения собственностью на средства производства, и начали зарождаться классы. Как в итоге сложится новая структура — сказать трудно. Дело в том, что временной аспект отмечаемых изменений не позволяет нам с определенностью говорить о том, что общество движется в каком-то определенном направлении. Пока уровень социальной дифференциации — математически — крайне незначительно изменился по сравнению с серединой 90-х.

— *Государство как-то пытается влиять на этот процесс?*

— В какой-то момент оно было вовлечено в него самым активным образом. Собственно говоря, большая часть наших капиталистов — это назначенцы государства. Оно совсем было слилось, почти по Марксу, с буржуазным классом, только, наверное, наоборот: по Марксу, буржуазия подчиняет себе государство, а здесь государство создало буржуазию и практически слилось с ней. Стоит посмотреть на мобильность между позициями государственных чиновников и управляющих высокого уровня в частных компаниях. Или на родственные связи, влияющие на назначения. Но с некоторых пор государство пытается дистанцироваться от буржуазии и стать относительно независимым игроком. Время покажет, насколько это возможно.

— *И все же, Михаил Федорович: ваши исследования, наблюдения, научный багаж позволяют уже сейчас говорить о явно наметившихся тенденциях?*

— О долгосрочных тенденциях — нет. Могу сказать только о том, что было бы желательно. Конечно, было бы

желательно, чтобы средний класс укрупнился и вырос хотя бы до размеров среднего класса в Малайзии, то есть до 30 процентов. Желательно, чтобы средний уровень заработной платы составил хотя бы 500 долларов. Да, мы при этом не будем Европой, но станем хорошей европейской периферией, типа Греции или Турции (что не так плохо на самом деле по сравнению с тем, что мы имеем сейчас). Желательно, чтобы не было окончательно демонтировано социальное государство в России, а чтобы, наоборот, оно наполнилось некоторым реальным содержанием.

— *Насколько возможна, по вашему мнению, сознательная коррекция социальных процессов и как вы это себе представляете?*

— Здесь, скажем так, я согласен с Поппером: корректировать социальные процессы можно в частности, но в общем — взять и все общество перевести на другие рельсы, вырулить его в целом к позитивному развитию — невозможно. Все это оборачивается большими трагедиями, чему история нас неоднократно учила, но, по-моему, так и не научила. Можно сознательно влиять на процесс, но для этого нужно улучшать положение дел в отдельных отраслях экономики, отдельных сферах жизни. Вот есть, например, северные территории, где много сложных проблем. Решая их, мы постепенно улучшаем положение дел во всей стране.

— *Но согласитесь, проблемы Севера, как и многие другие, это некие ответвления от общего ствола. Должно быть, видимо, ясное представление, что это за ствол, какого именно дерева, какая почва его питает, куда уходят его корни. Существует, скажем, генеральная идея — открытое общество, и все делается в развитие этой идеи. Та же перестройка начиналась во имя создания демократического общества. Что определяет движение сейчас?*

— Все, что происходит в нашем обществе, вся та модернизация, которая затевалась, — попытка очередного

приближения к западному стандарту. Мне кажется, что это постоянное видение Запада как стандарта связано с тем, что другие образцы очень сложно найти. А тут конкретный пример очень прагматического, со своими недостатками, конечно, но в целом вполне благополучного общества. И мы начинаем параметрически к нему приближаться по разным направлениям. Очень линейный способ модернизации российского общества, но цель понятна — западное общество.

— Довольно распространено утверждение, что новых социальных идей сейчас вообще нет...

— Думаю, новые идеи есть, но они не относятся к сфере целеполагания. Не социальный идеал. Есть конкретные очень неплохие идеи, связанные с уровнем анализа, с пониманием того, что происходит. Новые концепции постмодерна с попыткой осмыслить мир в терминах информационного общества, тех условностей, которые создают потоки информации. Эта постмодернистская теория интересна — почему нет? Но сказать, что она рисует идеал, цель развития, было бы большим преувеличением. Социального целостного идеала нет, и, наверное, он уже не возникнет. Просто потому, что все прежние себя исчерпали.

— А демократия?

— И она, наверное, достигла пределов своего развития и показала всем свои ограничения. Кроме того, идеалом не может считаться то, что и так достигнуто.

— Россия периодически пытается выработать собственный, так называемый третий путь развития.

— И ничего не выходит. Она явно идет к тому, чтобы быть периферийной частью Европы.

— Вместе с тем научная и общественная жизнь в последние 10-15 лет, казалось бы, кипит. Во времена перестройки вышла книга “Иного не дано” — практически

программа-мечта “шестидесятников”. Несколько лет спустя появляется четырехтомник “Иное”, где уже новое поколение (наверное, здесь позволительно употребить все-таки этот термин) пытается сформулировать какие-то свои идеи в противовес прежним. В Интерцентре на протяжении десятилетия проходят симпозиумы “Куда идет Россия?” с ежегодным выпуском соответствующих сборников. РГГУ проводит историко-софские чтения. Невозможно упомянуть всех институтов, фондов и т. п. (в основном недавно созданных), где обсуждаются наши проблемы и перспективы. Это знак свободы общественной мысли? Но и только?

— Это способ существования элитных групп. Что такое интеллектуалы без дискуссий? В том числе по поводу того, куда мы идем. Собственно, этот класс и называется телеологическим, чтобы формулировать общие идеи относительно происходящего. Но эти идеи имеют опосредованное отношение к реальным событиям.

Периодически возникает всплеск интереса к поиску так называемой национальной идеи. А, на мой взгляд, это отчасти происки власть имущих, которые хотели бы консолидировать общество таким образом, чтобы на фоне этой консолидации было незаметно резкое усиление социального неравенства, что, собственно, их усилиями и создано. Если Потанин — наш, и какой-нибудь безработный — наш, то все мы из одного племени. Еще и зарплату по Москве посчитать “в среднем”. Как хорошо! И в этом смысле Маркс прав: правящий класс всегда ищет способы консолидации собственной позиции при помощи подходящей идеологии. Это первое. Второе: национальная идея нужна тогда, когда существует проблема униженного национального достоинства. Можно сказать: “Да, мы, конечно, очень отсталые, у нас все станки заржавели. Зато мы — носители высокой духовности, а вы там погрязли в потребительстве”. Вот для чего нужна национальная идея. А в чем высокая духовность заключается, никто сказать не может. В свое время Ельцин собрал энное количество специалистов, отправил их за город, они там в поте лица своего старались решить проблему и потерпели полное фиаско. Есть

национальное бытие, но национальная идея из него никак не вытекает. Так что вряд ли здесь таится некая идеологическая альтернатива тому, что происходит.

Вообще печальный опыт обществоведения учит нас, что прогнозировать будущее невозможно. По крайней мере, в обозримой перспективе. Не думаю, что совсем уж глупы были те люди, которые писали программу партии, скажем, к XXII съезду. Вполне разумные люди — взяли какие-то большие тренды, спроецировали их на будущее, привязали к этим трендам показатели развития советского общества и получили некоторую совокупность целей, к которым нужно стремиться. Но они не учли (и могли ли учесть?) то, что произошло позже: переориентация на информационные технологии, энергосбережение, экологизм. Догоняющая модернизация, опирающаяся на параметрическое сближение с идеалом, всегда терпит крах потому, что модель, взятая за образец, тоже претерпевает изменения и нужно, идя в ее фарватере, повторять ее маневры. Однако цель, положенная в качестве идеала, не может быть такой подвижной. В этом случае она теряет важнейшее качество — способность к национальной интеграции и мобилизации.

— *Но тогда эти тенденции уже проявлялись, шло обсуждение глобальных проблем, экологии, сбережения энергии.*

— Но это были все-таки маргинальные проблемы по отношению к проблеме экономического развития. Экономический рост, темпы, больше стали, больше электроэнергии! Вот когда по уровню добычи угля, выплавки стали, производства электроэнергии мы догоним Америку, то будем совсем как она. И наращивали, наращивали... А Америка вдруг взяла и повернула в совершенно другую сторону, просто перестала с нами соревноваться по этим показателям (если вообще когда-нибудь соревновалась). Некоторое время назад у нас развернулась была дискуссия — догнать ли нам по темпам экономического роста Португалию. Очень даже российская идея: хоть кого-нибудь да догонять. Так, видимо, легче, когда видишь бегущего впереди. Ну, что в этих условиях сказать о будущем? Возмож-

но, люди обретут когда-то новые свойства, будут задействованы некие потенциалы человеческого мозга.

— *Вы считаете, не хватает мозгов?*

— Нет, думаю, с мозгами у нас все в порядке. Просто в России в процессе постмодернистской индивидуализации все мозги уплыли в другие сферы. Никому не интересно заниматься разработкой общих концепций развития российского общества. Каждый хочет, если у него есть мозги, реализовать их в конкретной сфере, себе на благо. Что угодно, только бы это приносило прибыль и каким-то образом помогало жить. А прекраснодушно мечтать о будущем... Сейчас все очень прагматично.

— *Сильное влияние прагматизма на нашу общественную мысль констатируется многими. Оно оборачивается тем, что эта мысль постепенно угасает?*

— Ну, я не могу сказать, что наша общественная мысль угасает. Она приходит к консенсусу. Она избавилась от идеалов — любых. Представьте ученого, который начнет сейчас говорить о коммунизме. Его просто осмеют. Вместе с тем в век постмодернистской индивидуализации каждый человек — классик. Он себя так позиционирует. Самое удивительное — вот в этом, наверное, весь постмодерн — каждый классик, но только для самого себя. Для меня он не классик. Мне он не интересен.

— *Потому что вы себя тоже считаете классиком?*

— Ну, в какой-то степени, в каких-то отношениях. Но это вовсе не означает, что меня кто-то будет считать классиком. Действительно интересное, на мой взгляд, направление современных исследований — процесс осмысления культурных ограничений развития. Культурных ограничений эволюции, даже скажем так. Если раньше почти все наши социологи жили с просвещенческим убеждением о том, что развитие не имеет пределов (захотим — сделаем общество демократическим, захотим — построим капитализм), то теперь приходит осознание того, что есть некото-

рая константа, крайне инертная компонента существования людей, каковой является вековая культура, передающаяся на уровне почти подсознательном, которая, в свою очередь, налагает определенные ограничения на темпы эволюции общества. Все неудачи последнего времени и констатации этих неудач привели обществоведение к тому, чтобы глубже исследовать эту компоненту — повседневную культуру, ее ограничения, бытовые идеологии и т. д.

Существуют, естественно, и некоторые попытки оригинальничать — это всегда есть в общественных науках. Если ты хочешь быть классиком (по крайней мере, для самого себя), ты должен не совпадать с самим собой в некоторой временной перспективе, то есть периодически являться себе в каком-то новом виде. Но я считаю, что реальные достижения нашего обществоведения заключаются именно в том, что оно становится более приземленным, прагматичным, постепенно осознает границы, в рамках которых возможно изменять общество, подвергать его разным манипуляциям. Это нормально.

— *И нет необходимости в общесоциологической теории?*

— Думаю, что общая социология — это история социологии. Я не могу назвать ни одного российского социолога, который пытался бы сейчас объять общество в целом, создать новую социальную парадигму. Да и зачем? Мы и так будем знать свое общество в результате исследований, которые проводятся. Оно описывается в частностях, в каких-то отдельных аспектах. А в целом? Такая задача не ставится, и, видимо, никому это сейчас не интересно. Не ставится цель создать новую теорию общества. Оно изучается в рамках тех парадигм, которые уже созданы в мировой социологии. Иначе говоря, берется готовый инструментарий и прилагается к российской почве.

— *Соответствует — не соответствует?*

— Да. А дальше разрыхляется почва с помощью этого инструмента, и какие-то плоды вырастают.

— *В таком случае, Михаил Федорович: смысл и роль вашей научно-исследовательской деятельности? Как вы их сами себе представляете?*

— Ну, смысл и роль исследовательской деятельности могут рассматриваться в двух аспектах. В личном — мне просто интересно. Проросло, видимо, — еще с юности — зерно любопытства, тяги к анализу социальных процессов. Постоянно узнавать какие-то новые вещи о нашем социуме — мне интересно этим заниматься. Существует и некий общественный аспект — вклад в науку, что называется. Я обычно об этом стараюсь не говорить. Но, безусловно, считаю, что своей работой вношу, может быть, не очень значительный, тем не менее вклад в процесс социальной рефлексии, рефлексии общества по поводу самого себя. Вот мы говорим о социальном неравенстве. Кто-то должен эту структурную тему позиционировать, она должна встать на повестку дня? Об этом заговорил один человек, второй, третий, четвертый. Это означает, что тема будет проникать в научный дискурс, средства массовой информации, начнет растекаться по обществу, заденет умы людей. И наступит период, когда об этом начнут задумываться все. А значит, в обществе будет делаться что-то по устранению проблемы. Вот так я представляю свою роль.

— *У вас многое впереди. В каком обществе вы хотели бы еще достаточно долго жить?*

— Идеалом все-таки является гуманное общество. Я назову его капиталистическим или социалистическим. Я назову его гуманным. Общество, в котором будут господствовать несколько иные нравы, чем те, которые мы наблюдаем сегодня. В свое время на меня довольно сильное впечатление произвела книга председателя Римского клуба Аурелио Печчеи “Человеческие качества”. Я считаю, что совершенствование человеческих качеств в том или ином социуме и есть его цель. Люди, которые становятся более цивилизованными, мыслят гуманно, отдаляются от насилия, которые более продуктивно, добросовестно работают. Я — за комфортность нахождения в человеческом сообществе. Этого можно

достичь только через улучшение нравов. А нравы, по Пушкину, — вполне конкретное поведение одного человека по отношению к другому. Всего лишь.

— *Многих тревожит духовный кризис, который переживает человечество, предельное обесценивание жизни человека и вместе с тем тщетность поисков ее высокого смысла. Вы разделяете эту тревогу?*

— Да, разделяю и считаю, что к обесцениванию жизни приводит крайняя степень индивидуализации людей — процесс, который мы сейчас наблюдаем. Когда не остается никого вокруг, кроме тебя самого, и ты реализуешь свои устремления, ни о ком не задумываясь, — это очень опасно для общества XXI века. Не знаю, каков может быть выход из существующего положения. Попытка людей создать для себя конюмеристский рай (на языке социологии — потребительское счастье) в некоторых странах практически удалась. Вместе с тем нескончаемый процесс потребления, постоянное потребительское счастье можно было бы назвать “забвением Бога”. Человек решил, что он должен реализовать себя на земле, добившись максимальных материальных благ, сенсорного удовольствия. При этом игнорируются другие формы его реализации, которые могут быть более перспективными и для человека, и для человечества.

В эпоху Просвещения освобождение людей от материальных забот и трудностей полагалось именно как способ некоего возвышения человека, способ, который сделал бы жизнь более гуманной и создал бы предпосылки для новых форм взаимодействия людей. Но оказалось, что удовлетворение материальных потребностей как постоянно развивающийся процесс сам становится целью — и отдельной личности, и общества в целом. Конюмеристская ориентация начинает преобладать над всеми другими формами самоактуализации. Однако и конюмеризм, наверное, подходит к своим пределам — ресурсы-то общества исчерпаемы. Это какой-то духовный тупик, который через кризис приведет общества к осознанию необходимости новых направлений эволюции.

## А.Ю. Согомонов Мы — слепок глобального мира

— *Как вы рассматриваете наше время, Александр Юрьевич? Оно подталкивает к определенным размышлениям о природе сегодняшних социальных процессов, либо, напротив, убеждает в непрактичности такого рода занятий и, как многие говорят, не способствует рождению новых социальных идей? Может, в самом деле, правы те, кто считает, что идеи, идеалы — в прошлом; и куда двигаться дальше — это вопрос политической воли.*

— То, что говорится по поводу отсутствия идей, мне представляется глубоким заблуждением. Даже самые отсталые, медвежьи уголки современной цивилизации и те демонстрируют набор очень интересных социальных новаций. Летом 2002 года мне приходилось много ездить по России, и я был потрясен не только различием в понимании жизни, так сказать, “в центре и на местах”, но и полнейшим непониманием российскими политиками тех новых социальных идей, которые рождаются в обществе. Мы на самом деле живем в эпоху абсолютного несоприкосновения между тем, что можно было бы назвать “интеллектуальной инициативой, идущей снизу”, и желанием, а может, и умением (точнее — неумением) эту инициативу заметить, распознать и что-то предложить в ответ. Иными словами, рынок политических услуг, который мы могли бы рассматривать как некую политическую силу, встречающую заинтересованность снизу, отсутствует напрочь.

Мне кажется, в начале 90-х годов теперь уже минувшего века нерв политики и дух времени совпадали. Потом политика стала все меньше и меньше отвечать духу времени, переставая таким образом быть легитимной. Появи-



лись двусмысленные, порой туманные, непрозрачные фигуры и силы, которые принимались “на ура” и становились популярными просто из-за надежды и веры, что, может быть, в этой непрозрачности рано или поздно проявится некая желанная суть — если говорить об ожиданиях обычных людей. Пока непрозрачность сохраняется, не исчезает и политическая невнятность. У нас нет предложенной государством концепции развития, которая была бы понятна людям. Нет осознания того, какая стратегия необходима России в меняющемся мире и, соответственно, что мы должны делать внутри страны. Однако отсутствие такой концепции не является препятствием для того, чтобы существующий политический режим воспринимался как стабильный. И в этом смысле — по-прежнему легитимный. Хотя очевидно, что те системы, те силы, я бы даже сказал, и те партии, которые были рождены в ельцинское время, обречены на вымирание.

На мой взгляд, мы переживаем сейчас очень интересный момент, когда каждый человек должен понять, как вообще поступить по отношению к самому себе. Если ты болен, нуждаешься в серьезном лечении, однако пока прибегаешь лишь к временным мерам, зная, что через месяц болезнь опять даст о себе знать, — то правильно ли ты поступаешь? Чисто по-человечески нет ответа на этот вопрос, потому что иногда страшит серьезное хирургическое вмешательство с малопредсказуемыми последствиями. Иногда хочется что-то оттянуть, отодвинуть. И так тянется от месяца к месяцу. Перед таким же выбором, думается, мы стоим сегодня в политике. В чем его смысл? Либо поддержать то, что есть сейчас, и тем самым обречь себя на следующие четыре-пять-десять лет, в общем, еще более застойных, чем были последние два-три года, когда отсутствовали представления, как Россия должна модернизироваться. Либо “отрезать” уже сейчас, не дать возможности старым силам повторить себя заново на политической арене, а принудить создавать что-то новое, именно потому, что только постоянно обновляющаяся политическая форма имеет право на существование.

— *Некая перманентная революция?*

— Да, перманентная, но модернизация. Это то, что характеризует, на мой взгляд, всю современную политическую ситуацию. Мы, скажем, часто апеллируем к тезису о вымирании партий во всем мире. Классическая политическая структуризация, характерная для демократического мира (я говорю не про тоталитарные страны), уходит в прошлое. Постклассическая политика не предполагает наличия жесткой партийной структуры. И что тогда такое “конец партий”? Невозможность их существования вообще? Или же партия обязана постоянно перестраиваться, как перестраивается и современный бизнес, который должен каждые три-четыре года (а то и чаще) кардинально меняться? Настолько быстро сегодня меняется время, так оно быстро течет. Иными словами, поколенческого бизнеса, когда инвестиции закладывались на “когортный” хозяйственный цикл, оборачивавшийся прибылью через 20-30 лет, уже быть не может (во всяком случае, в массовом масштабе). Почему же мы не вправе тот же самый критерий, тот же взгляд распространить и на политику, на рынок политических услуг и предложений, на деятельность и облик партий, если мы считаем, что время имеет иной темп, — и это главное отличие начала XXI века.

Наше время — крайне сжатое, дигитализированное, как сейчас говорят, переведенное в цифру, которое заставляет принципиально перестраиваться классические социальные формы. И это время, которое в прежней своей сбалансированности с социальным пространством вынуждено чуть-чуть отступить. На самом деле, в сегодняшней нашей социальности пространственные измерения становятся как будто бы более приоритетными, чем временные, поскольку все свыклись, что не успевают за временем, и пытаются закрепить то, чему уже научились. Обратите внимание: когда мы говорим о том, какие социальные и политические идеи сейчас можно вернуть в жизнь, то чаще всего речь идет об идеях, характеризующих пространственное оформление взаимоотношений общества и личности. Пространственная реконструкция, пространственное возрождение как идея играет сейчас очень большую роль. Почему? Мне кажется, что ближний, физический, пространственный контакт между людьми — это все, что между нами осталось. За

90-е годы некий монолит, какой представляли собой российское общество и вообще современная культура, в некоторых местах треснул (если позволительна такая метафора), раскололся, пока еще на куски и еще стягиваясь, потому что сила притяжения этих кусков достаточно велика. Но они стали двигаться самостоятельно — вперед, назад и так далее. Это новые пласты культуры, которые свидетельствуют о том, что мы становимся мультикультурным обществом, в первую очередь — во временном отношении. Российское общество — как, впрочем, и европейское, любой тип продвинутого общества — живет внутри себя в разных временных рамках по тому набору культурных ценностей и норм, которые остаются для людей базовыми.

— *Разве этого не было и раньше, в том же советском обществе?*

— Мне все-таки кажется, что в советское время (даже в сталинское, при всей одновременности сталинского периода) общество было стилистически достаточно однообразным, с моностилистическим типом культуры (как сказал бы Л. Ионин), с довольно ясным, по крайней мере насильственно ясным, если можно употребить такое выражение, представлением о человеческой биографии, человеческой жизни, ее значимости, ее смыслах. Да, люди сильно различались, но, поскольку существовала жесткая культурно-репрезентативная система, готовая внушить, навязать, заставить принять это представление, даже если человек не жил в данной системе координат, даже если его понимание жизненного пути категорически не совпадало с автобиографией, которую он писал чуть ли не ежедневно в той или иной ситуации, по тому или иному поводу, — все-таки этот репрезентативный стиль был единым. Такой стиль существовал, кстати, не только в условиях этатристического социализма, но и в капиталистических странах, в частности в США, правда исторически постоянно меняясь. Скажем, представления о жизненном успехе в американской культуре — абсолютно не статичная вещь, как это иногда кажется. Старые модели, привнесенные из Европы, потом как-то доморощено выпестованные в Аме-

рике, сформулированные Франклином в начале XVIII века, и представления середины XIX века настолько различны, что в известном смысле совершенно не совпадают. Потом — кризис этих моделей и рождение новых. Но всякий раз американское общество, как и российское, если мы говорим о более или менее сходных вещах, предлагало (по крайней мере, для себя самого) некоторый репрезентативный канон. В первую очередь — ясное видение биографии, биографических смыслов.

Сегодня мы имеем дело с категориями населения, которые по воле истории оказались носителями известных философско-жизненных идей, отличающихся друг от друга не просто своей конфигурацией, а тем “временем” — разным историческим временем, в котором люди себя мыслят. В России сейчас, по моим представлениям, три таких категории. Во-первых, существует очень большая группа людей, для которых жизнь — это судьба, потому что рискнуть ею нельзя. Жить самим по себе, общинное существование практически исключается, причем речь идет отнюдь не о той общине, которая формируется в городах современной России. Это община как некоторое социальное тождество между определенными группами людей, желающих не собственности как таковой, а равного участия в продукте, произведенном на базе этой собственности. Идея-судьба не зависит от того, в каком месте ты находишься. Не давая возможности рисковать, она отталкивает тебя от авантюризма, рисков и все время движет назад. Для тебя вроде бы и нет истории в том смысле, в каком она существует для людей, получивших современное образование. Даже если кто-либо из приверженцев этой идеи и имеет образование, все равно на деле он не является носителем идеи современной культуры. Это люди, которые вообще воспринимают друг друга, скорее, во временной категории “количества”. Как можно оценить своего соседа? Я работал сегодня шесть часов и он шесть часов — значит, мы одинаково сегодня трудились, имеем одинаковые права на одинаковые социальные условия и уровень жизни. Если я работал больше, то и получить должен больше. Для меня понятие “работа” — исключительно временная характеристика, а не тот набор идей, специального профес-

сионального знания и еще чего-то, который я вкладываю в свою работу. Люди, вырванные из исконного — по сути деревенского — контекста судьбы, перенесенные в города, особенно в малые и средние российские города, утрачивают социальный контекст, но продолжают, даже через поколения, жить в субкультуре судьбы. Это, кстати, свидетельствует об одной серьезной ошибке отечественной количественной социологии: полагая, что мы опрашиваем горожан, на самом деле мы опрашиваем посткрестьянскую массу (что надо отчетливо понимать). В этом смысле данная версия доказывает, что граница между городом и деревней стерта — о чем в свое время так много говорилось и к чему было такое стремление.

Другая категория, другой пласт — люди, включенные в систему советского понимания о функциональности общественного разделения труда. Для них это — сердцевина, костяк их представлений о социальной структуре. Оттуда их социальные идеи, отношение к жизни. Конечно, они очень фрустрированы тем, что происходит сейчас, и, безусловно, не адаптированы, хотя и имеют “современное образование”. Здесь уже речь идет об историческом времени, исторической памяти, исторической культуре, повернутой, возможно, назад. Люди ничего хорошего от нынешней жизни не ждут, они становятся агрессивными, маргинализированными в культурном смысле. Через эту часть общества в основном идет подпитка ксенофобских, националистических идеологий.

Предложу такую гипотезу: молодежь, поступающая в вузы и ориентированная на получение образования западного типа, то есть вузовское студенчество, предпочтительно голосует за “Яблоко” и СПС, а молодежь, поступающая в техникумы, — за ЛДПР. Это не примитив. Доказать что-либо тут сложно, но это — эвристичная гипотеза. В ней важно понять, в какой степени не состыковываются сейчас культура вузовского образования и культура профтехобразования, в которой действительно еще очень много от наследия прошлого. При советской власти это были как бы звенья одной цепи, существовавшие в одной функциональной, профессиональной логике. Теперь же университетское образование дает совершенно иное представление

о том, что есть мир и что есть общество, в котором ты должен найти свое место, в то время как профтехобразование все еще работает в модели, как мне кажется, функционального понимания того, что именно ты не должен делать (ты не должен быть личностью, грубо говоря).

— *Возможно, это, скорее, разница между гуманитарным и техническим образованием?*

— А есть ли сейчас техническое образование как таковое? Инженерные факультеты или вузы, которые готовят нефтяников, газовиков, имеют интересную специфику: во-первых, там очень много гуманитарного знания, и, во-вторых, на самом деле там параллельно техническим специальностям очень много внимания уделяют менеджменту. Не знаю, мне кажется, что жесткого разграничения, какое было при советской власти между технарями и гуманитариями, сегодня уже нет. Вузы (хоть их иногда и именуют “большими техникумами”) становятся все более и более гуманитаризированными — в отличие от техникумов, которые оказываются как бы посередине (школы ведь тоже ориентируются на изменения в сторону вузовской модели). А в середине — миллионы людей; их родители жили в этой культуре, и дети опять уходят туда, воспроизводят культурную матрицу, которая соответствует 20–30–40-м годам прошлого века, не более. Таким образом, не выходят за пределы давнего, достаточно узкого представления о жизни.

Наконец, третья категория людей, которая, я думаю, становится все более и более многочисленной. Это те, кто вообще как бы не хочет вырываться за пределы исторического времени, считая себя мерой всех вещей. Вспомним греческих философов: “Человек — мера всех вещей”. Человек как некое средоточие гармонии, которое может существовать в природе. Идеи блага, равновесия, вообще бытия не существуют вне человеческого измерения. Вот смысл греческого антропоцентризма, в отличие от последующих эпох, где человек крайне редко становился универсальной социальной мерой. Социальный мир, скорее, человеку навязывался. Не случайно в советской социоло-

гии мы пользовались таким понятием, как надындивидуальность, имея в виду, что за пределами личности расположено некое средоточие социальности, которое человек не вправе выбрать. Хочет не хочет, а он должен соответствовать неким общим эталонам. А вот сейчас оказывается, что он может выбрать все — национальность, конфессию, даже пол. Скажите, какая форма социальности осталась для него предзаданной? Окончательное крушение “железного занавеса” в 80-х годах подтолкнуло это движение: смысл жизни в том, что ты постоянно что-то выбираешь. Я бы назвал это постсовременным авантюризмом. Он заложен в идее сегодняшнего просвещенческого проекта как небаянь двигаться вперед, развиваться, искать и не сдаваться. Представление о культурном герое как о вечно ищущем, для которого движение — все (“как будто в буре есть покой”) и который в простой современности всегда оставался лишним. Красивая сказка для живущих людей, но не та, чтобы ее превращать в быль.

— *Идея полной свободы?*

— Это идея свободы, которая существовала только в культурной мысли, но не в биографии, не в человеческой жизни. Если она и была, то представляла собой, скорее, абсолютное исключение и не касалась массы живущих повседневной жизнью, не вырывающихся за ее пределы, за эти “карцерные” основы, как сказал бы, наверное, Фуко. Сегодняшний опыт показывает, что сложился колоссальный пласт людей (оформившийся с конца 70-х годов), не принимающих те формы социальности, которые предопределяли жизнь их родителей. Это не бунтовщики. Я сейчас говорю не про хиппи, не про революционеров конца 60-х годов или сегодняшних социальных нонконформистов. Я говорю о поколениях, живущих в таком сжатом, быстро меняющемся времени, что в этот маленький промежуток невозможно уложить какую-либо метаидею, способную придать времени осмысленное завершённое звучание (“период того-то и того-то”). Таких вещей нет, и люди ищут их для себя самостоятельно. Например, многократно меняя место работы, что нельзя объяснить их не-

усидчивостью, непоследовательностью, неспособностью работать систематически. Это просто норма их жизни. Есть интересная гипотеза о том, что некоторым прототипом профессиональной культуры будущего станет субкультура хакеров (мысль Кастельса). Это люди, которыми невозможно управлять, они живут как хотят, но при том смысл их жизни — то, чем они занимаются.

— *То есть профессия?*

— А вот является ли это профессией? Конечно, я склонен сказать, что это — профессия. Но при строгом социологическом подходе это уже, скорее, — стиль жизни. Гипертрофированная профессиональная этика, поглотившая все остальное.

Возьмем другой пример — скажем, наше социологическое сообщество. Ведь, по сути, сегодня нет такого понятия. Научное сообщество в рамках одной профессии — социолога — раскололось, потому что социология сама по себе перестраивается. Для одних она становится бизнесом, значит, должна изнутри профессионально и этически обустроиваться как бизнес. Естественно поэтому, что нормы и ценности той части сообщества, которая живет в категориях социологии как бизнеса, совсем не будут совпадать с нормами и ценностями тех, для кого социология была, есть и будет исключительно академической наукой (формой социальной критики), ничем больше (и кто, к сожалению, вынужден жить, как говорил Остап Бендер, протягивая руку “за кислым исполкомовским рублем”). И это не единственный критерий внутреннего деления. На самом деле перед нами предстает довольно сложный “пирог”, где не горизонтальные или вертикальные слои, а некие конфигурации, раскидывающие людей по разным точкам и углам. Наверное, самое интересное, что характеризует наше время, — возможность быть одновременно в различных социальных сообществах, что раньше было нереально. Я назвал бы это “гиперкорпоративностью” постсовременного человека. Вот здесь он с одними, там — с другими, и каждый раз ситуативно разделяет культуру, этику, идеалы, нормы, ценности тех или других, хочет, чтобы мир менял-

ся в соответствии с этим образцом — здесь, а в соответствии с тем — там. Человек, участвуя в разных социальных мирах одновременно, прекрасно понимает: не то чтобы он живет в разном времени, а это миры делают близкими только возможность их пространственной регуляции, саморегуляции. Государство такой процесс регулировать не способно. Никакое государство. Значит, об этом надо забыть.

— *Вы характеризуете эту третью категорию как людей асоциальных или считаете, что они строят новую социальность?*

— Безусловно, это социальная группа. Другое дело, что здесь новое представление о социальности. Часть нашего общества вполне может обратиться к ним с вопросом: “Мы “пашем”, а вы что делаете? Прыгаете с места на место. Вы — маргиналы”. Но это несправедливо. Есть среди них и те, кто, как представители богемы, нарочито эпатажно выстраивает свою жизнь, ломает привычные стереотипы, чтобы выделиться в общей массе. Но прежде всего это — те, кто работает в массовом малом бизнесе, где занято два-три-четыре человека; если что-то не получилось — готовы переключиться на новое дело. Это и “производители культуры” — художники, музыканты, писатели (но не крупный музыкальный или художественный бизнес, шоу-бизнес, где живут в другой культуре, по иным представлениям), — и журналисты, компьютерщики, программисты, ученые, между прочим, получившие хорошее образование и не способные найти себя в этой жизни, но не сдающиеся, не идущие работать по найму не по профилю в какую-нибудь фирму. Все они отвечают за себя, не боятся этой ответственности, очень рискуют, потому что прекрасно понимают: никто не дает и не даст им никаких гарантий. Те, кто был склонен придерживаться идеи-судьбы, знали, что общее гарантирует частное, и потому, приезжая в город, неизбежно воспроизводили патерналистскую модель. Те, кто жил в условиях функционального представления о разделении труда (человек как функция, как специальность), существовали, зная, что их альтруизм,

их жертва по отношению к идее, к государству принимается и обернется их социальным выживанием: в случае чего у тебя есть некие гарантии. Эти же люди — представители третьей из названных мною категорий — никому никаких, так сказать, вкладов в жизнь не совершают. И современный человек в возрасте 20-25 лет, будучи таким “фрименом”, думает, как ему поступить: то ли занять детей и вкладывать заработанные деньги в их образование, чтобы те потом ему помогли; то ли вообще не заводить семью и откладывать деньги, чтобы как-то себя обеспечить в старости. Это проблема культурного выбора. (Получается, кстати, что образовательная и пенсионная реформы неотрывны друг от друга, отношение же к реформам у нас по-прежнему техническое, а не социально-философское).

Есть идеологи этой новой социальности. Скажем, поздний Фуко придумал такую, как мне кажется, замечательную формулу: люди считают, что в самой их биографии достаточно материала, чтобы сделать из жизни произведение искусства. Так вот это — перформанс через собственную жизнь, через свой биографический путь. Меня не убедишь, как поступать; в основании моих поступков нет утилитарных, прагматических, рациональных, с вашей точки зрения, мотивов и никогда их не будет, ибо я делаю из своей жизни произведение искусства. Это некоторый социальный эксгибиционизм, но он характерен больше для лидеров, в массе своей этот пласт людей, конечно, живет незаметно.

— *Скажите, Александр Юрьевич, такая социально-философская градация населения каким-то образом соотносится с традиционной социальной структурой общества, с поколенческими различиями?*

— Я пытался даже эмпирически выяснить, как это связано с поколениями. Конечно же, любые новые формы “работают” с поколениями — тут никуда не денешься. Однако хочу сказать: по крайней мере, в больших городах, мегаполисах (не обязательно это Москва и Санкт-Петербург, но и Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск и много других российских городов) проблема новой соци-

альной конфигурации не воспринимается как строго поколенческая. При всем при том, что новый русский, владелец фирмы, никогда не возьмет в офис людей пожилых, и даже людей среднего возраста, а всегда предпочтет молодежь (что, с моей точки зрения, не совсем верно), тем не менее выбор возраста в деле, которое ты делаешь, в условиях асинхронности общества, одновременности культур, вынужденно сосуществующих, не приобретает столь острый характер, когда одно поколение сметает другое. К сожалению, мы должны констатировать, что в малых и средних российских городах именно молодежь, пытаясь как-то реализовать себя в этой жизни, является носителем консервативных, радикальных, маргинальных, националистических идей и в этом смысле даже в большей степени асоциальна, чем группы “свободного социального полета”, о которых мы только что говорили. Здесь скреп — прямо противоположный. В данной связи, мне кажется, понятие “молодежь” становится одним из важнейших, от которых социология вынуждена отказаться: оно не имеет резона. Молодежь не является некоей группой, способной что-то решить. Она в такой же степени разбита, как и все остальные, то есть корпоративно расщеплена. И в этом смысле молодежи как социокультурного явления, как некоего пласта в обществе — нет. Это надо признать, и тогда мы поймем, что не должны ставить перед собой задачу “социализации” молодежи. Ни социологи, ни философы, ни педагоги, ни государственные деятели, ни политики. Это тоже термин старого аппарата мышления.

Если мы отказываемся от понятий “социализация”, “молодежь”, то нам легко ответить на вопросы о социальной структуре. Сегодня в известном смысле она воспроизводит ту схему, которая существовала пять-десять лет назад, мало изменившись с точки зрения наличия определенных социальных этажей (если под социальной структурой мы понимаем в первую очередь такую вертикальную метафору общества). Она крайне диспропорциональна даже для столь гигантского общества, как Россия. Это, конечно, дикость. Но принципиально другое: мы должны понимать, что сейчас существует некоторое поле с определенным набором пирамид, которые воспроизводят разные идеи социальной

стратификации (я называю такой тип социального пространства “полем пирамид”). Это важно и для аналитика, пытающегося понять, по какому основанию можно вообразить сегодняшнее российское общество, и важно для людей, переходящих с одной пирамиды на другую. Иными словами, точка зрения того, кто представляет одну из вышеупомянутых категорий, принципиально разнится от других, каждый смотрит на общество с той пирамиды, где сейчас стоит, и не видит то, что хочет увидеть. Поэтому все вокруг него искажено, в социальной диспропорции и т. д. Всякий раз мы воображаем общество по-разному, если пытаемся встать на одну из этих пирамид. Единого социального воображения не может быть. А социальное воображение — синоним слова “общество”. Если мы предполагаем в мультикультурном, мультивременном, в асинхронном, но едином территориальном пространстве (физически оно едино!) существование разных социальных пирамид — то есть разных точек зрения, разных взглядов на существование и развитие общества, — появляется отчетливое понимание, в чем основная тенденция, каким образом Россия вписывается в глобальное общество. Потому что глобальный мир и есть “поле пирамид”, только там их гораздо больше. Российское общество воспроизводит внутри себя (думаю, это естественный процесс) то, что представляет собой глобальный мир, со всеми плюсами и минусами, с наличием разных этажей социальности, с дверьми, открытыми для капиталов, технологий, информации, и с закрытыми социальными дверьми, с реархаизацией в регионах (прямым порождением этой абсолютной закрытости) и культурной тусовкой, которую я люблю называть “тусовществом” — такой красивой формулой для людей, плачущих о том, что развалилась страна именно потому, что утрачена профессиональная этика, никто не хочет трудиться и т. п. Все это и многое другое дает нам основания видеть Россию не просто частью глобального мира, а редкой его разновидностью, с весьма продвинутыми демократическими зонами и безумно отсталыми, байскими, феодальными, коммунистическими участками. С тем же самым культурным кодом — что самое важное. В этом смысле мы — слепок глобального мира.

— *Российские реалии, таким образом, отвечают, на ваш взгляд, тенденциям мирового развития. И все же: какова ваша точка зрения в сегодняшнем дискурсе о взаимосвязи глобальных процессов и особенностей включения в них России?*

— Думаю, многие совершенно забытые для цивилизации явления будут сейчас возвращены к жизни, дабы нарочито показать, от чего они возникают: от отсутствия национального государства. В России, с одной стороны, мощный спрос на построение национального государства, на возрождение этой идеи, а с другой — абсолютное непонимание на государственно-политическом уровне “как это делать?”. Потому что механизм, инструмент, с помощью которого всегда создавалось национальное государство — через насилие, искусственное решение вопросов языка, границ, культуры, через этническую чистку, — сегодня просто неприемлем.

Что такое мультикультурность, о которой мы говорили в самом начале? Это общегосударственная концепция: как людей разного этнического происхождения попытаться удержать вместе или же дать им возможность найти общий язык. Мультикультурность и есть новая социальность. Одним из ее измерений является мультиэтничность. Вторым — мультиморальность, возможность сохранения единого пространства при отсутствии универсальных моральных представлений. Чем отличается мультиэтничность от полнэтничности? Я пользуюсь таким сравнением (подтвержденным в разговорах с фармацевтами): чем отличаются мультивитамины от поливитаминов? Набор витаминов один и тот же, это не принципиально, но в первом случае они “чистые”, а во втором к ним добавляют что-нибудь еще, например железо, калий, марганец. Причем на усмотрение фармацевта, который думает, что же важнее для людей — железо или калий? Нет, пожалуй, кальций... И т. д. Так вот, полиэтничность — это когда есть такой творец; мультиэтничность — когда его нет, когда существует абсолютно горизонтальное взаимодействие разных субкультур. Самый удивительный пример сочетания этих двух подходов — Америка: продвинутое мультиэтническое общество

внутри себя, а по отношению к глобальному миру — творец этого полиэтничного пространства, регулирующая сила, жесткий распорядитель.

Америка изнутри, в отличие от России, не является слепком глобального мира. И это самая большая проблема США во взаимоотношениях с другими странами. Я думаю, сложность и особенности нашего сосуществования в современном социальном пространстве и в культурологическом и в социологическом плане до сих пор не осмыслены. Если говорить о близкой нам социологии, то надо признать, что не существует средней теории для вещей, которыми мы раньше никогда не занимались. А как у нас воспринимается та же глобалистика? *Global society*, теория глобального общества в современной европейской и американской социологии — это “песнь” в первую очередь про себя, а не про остальной мир, который живет по ту сторону от тебя. В нашем же восприятии это некое понимание как раз того, что там, и как можно там найти место себе. Нет осознания, что глобальное общество, глобализация — это как обустроена твоя местная жизнь. Такого осознания нет ни в социологии, ни в политике. И такое непонимание на самом деле манипулятивно, потому что при отсутствии “железного занавеса” оно создает, так сказать, “интеллектуальный занавес”, принуждая и население мыслить в категориях “мы–они”, “свой–чужие” и т. п. Это нежелание допустить людей до глобального мышления, хотя политическая и научная элита, возможно, сама того не сознает, потому что продолжает мыслить очень традиционно. Или, по Гегелю, продолжает “мыслить абстрактно”. Это первое.

Второе. Я не вижу серьезных традиционных проблем в России, таких как социальные взрывы, революции, классовые войны и все прочее. Мне кажется, этого уже никогда и не будет. Формируется новая социальная реальность. Она, если хотите, может быть понята только в сравнении с тем, что переживала Европа накануне возникновения, так сказать, модернистских проектов. Это — гиперсоциальное пространство; включенность человека по необходимости в разные корпорации; неизбежность его участия в разных “моральных общинах”.

— *Что вы имеете в виду под “моральной общиной”?*

— Возьмем, скажем, проблему Чечни. Тут две известные крайности: “отпустить” или “бомбить до конца”. Между этими крайностями не существует политического пространства, в котором могло бы быть найдено компромиссное решение, и общество могло бы его одобрить. Не потому, что это абсолютная дилеммность, а потому, что сама проблема воспринимается, скорее, как моральная. Человек занимает ту или иную позицию в соответствии со своим моральным выбором. То же в отношении судьбы нашей армии, сохранения либо отмены смертной казни и т. д. Ни в одной стране мира, которая приняла мораторий на смертную казнь, никто не проводил референдумы. Но ведь это проблема, которая там постоянно находится в центре публичного дискурса. Для нас же она до сих пор не стала темой широкого обсуждения. Сегодня неизбежно распадение общества на некоторые “моральные общины”. Мы можем сидеть с вами за одним офисным столом, разделять одни и те же профессиональные ценности, иметь одно и то же воспитание, образование — то есть вообще не понятно, почему возникает различие позиций. И тем не менее именно потому, что существует то самое культурное пространство “поле пирамид”, между ними и формируются разные “моральные общины”. Человек иногда выскакивает за пределы своей пирамидки и принимает самостоятельное решение. Он никогда не объяснит, почему именно такое решение он принял. Моральный выбор, ригористический, бездоказательный, жесткий — “только так и не иначе!”. Через год он может принципиально его поменять, и опять-таки никакой рационализации подобной смены не будет. Это свидетельствует о кризисе публичного дискурса в стране, о неучастии людей в обсуждении того, что происходит, и известной интеллектуальной отсталости России.

Третий тезис. Возьмите любую нашу проблему: коммуникации, информации, образования, имущественной дифференциации, обустроенности хозяйства, отношения регионов-доноров к реципиентам и т. д. — все они есть и в других странах. Но уровень различий между людьми, территориями, масштабностью задач и прочее не столь рази-

тельный. В России во многих вещах он фантастический. Все, что происходит с вами в этой жизни сейчас, — действительно культурная революция, и скорость ее настолько велика, что по процессам, идущим в России, можно судить, что будет происходить в мире (после первых взорванных у нас домов можно было ожидать и взрывов в Америке).

Если этот тезис кажется внятным, то понятен и вопрос: что в этой связи делать нашей науке об обществе — социологии? Боюсь, что сегодня она находится в когнитивном тупике, связанном с тем, что мы по-прежнему пытаемся привязать наши реалии к европейской социологической теории, исходящей будто бы из других социальных реалий и размышляющей будто бы о других социальных феноменах. А мы — другие? Пытаемся найти состыковки между этими вещами (хотя, мне кажется, многие уже перестали это делать). Испытываем колоссальный дефицит в новых направлениях социологической мысли. Если она будет исходить только из соображений аутентичности и особенностей российского пути — это, конечно, тревожно, и я разделяю такую тревогу. Если же, наоборот, мы будем назло всем гипертрофированно считать себя как раз-таки нормальной, типичной страной мира — открывается хорошая перспектива, потому что в этой ситуации можно отчетливо понять, куда, собственно говоря, движется мир. Да, мы отстаем, но наша отсталость и неразвитость, неравномерность права и демократии, существующая в стране, разность культур, разбегание территорий, сочетание гиперлиберальных идей с гиперфеодальными — все это уживается в одном состоянии, потому что...

— *Это и есть глобальное общество?*

— Это и есть глобальное общество. Оно никогда другим не будет, это надо признать. И тут я склонен вернуться к нашему разговору о социальной стратификации, потому что, мне кажется, нужно говорить не о социальной дифференциации, а о социально-культурном различии, которое не образует социальных кластеров. Мы можем их искусственно конструировать, но у самого общества нет в



этом необходимости. Теория социальной стратификации сложилась тогда, когда общество захотело мыслить себя как классовое, социально структурированное, без потребности среднего класса видеть общество, где он есть середина. Я хочу сказать, что социальные теории в этом отношении всегда являются способом познания свободного общества и ответом на его потребность понимания себя таким, каким оно себя хочет мыслить. На мой взгляд, сегодняшнее российское общество, понятое как слепок глобального общества, не мыслит себя кластерным, в группах. Оно хочет себя воспринимать как некий архипелаг, находящийся в море. Острова, между которыми не существует никакой связи, но можно плавать. И море — не та граница, которая не преодолима. Социально-культурные различия становятся проблемой центрально-идеологической, центрально-политической и центральной проблемой в науке. Не решая ее в комплексе, мы не будем иметь ни аналитического, ни политического, ни внятного идеологического ответа на вопрос: как разные люди способны уживаться и в том глобальном мире, и в этом глобальном обществе, каким является Россия? Вот это большая опасность для нашей страны.

Наконец, четвертое, о чем хотелось бы сказать в данной связи: у нас нет никаких конструкций, которые можно было бы назвать “народными конструкциями”. В результате каждый раз возникают все более и более радикальные, экстремистские, нетерпимые, все более и более сложные позиции, которые рано или поздно могут опять привести Россию к тому образцу поведения, которое существовало в классическом национальном государстве — то есть ко все более жесткому контролю, регулированию и т.п. Россия может преподнести миру один-единственный урок: способна ли она обустроиться по горизонтали или нет. Если она провалит этот исторический эксперимент, не сможет показать, как это делается, тогда грош нам цена и тогда будет несколько Россий.

— *Мы упоминаем здесь социологию как науку, так сказать, в общем плане. Вы конкретный ее представитель, и если персонифицировать — как вы сами, Алек-*

*сандр Юрьевич, рассматриваете смысл и роль своей научной работы, что в ней выделяете, считаете востребованным?*

— Понимаете, для меня это немного праздный вопрос, потому что я вижу судьбу социолога в современном мире как человека, который отказывается от двух вещей: от микро- и макросоциологического восприятия реальности. Это — слишком большая роскошь, которая ему уже не дана временем. Он определяет свое, интересное ему предметное поле и удивительным образом в рамках этого предметного поля обнаруживает для себя универсальные ответы, возможность объяснить простому человеку, то есть дискурсивно, чем, собственно, его социологическое знание отличается от обыденного. Он не говорит так, как иногда в старые времена: “А что такое социология? Просто улавливаемый ученым здравый смысл”. Ничего подобного. Здравый смысл — это, так сказать, рудиментарная, полулатентная-полуявная конструкция, которая будто бы отражает народную мудрость. Надо забыть о народной мудрости — сталкиваешься-то, как правило, с народной зашоренностью. Коррелировать социальные процессы можно только через себя. Кстати сказать, одним из самых интересных объектов для социологов, по-моему, становится его собственная личность. Наверное, и старшее поколение социологов это чувствовало, но не признавалось...

Как выделить, определить “свою тему”? Мне, к примеру, интересно все. И не потому, что хочется заниматься всем, а просто жизнь заставляет. Трудно быть научным руководителем по теме “образования” или “философии успеха”, если сам за этим не следишь. Но есть одно условие, которое я ставлю для себя и для работающих со мной людей: не институциональный взгляд на те процессы, которыми занимаешься. Есть у меня, конечно, и любимая тема. Если понятна метафора с “полем пирамид”, то, наверное, это главный мой интерес сейчас. Интерес очень простой: как социальные различия могут быть нивелированы в культурные. Мне не хочется, чтобы различия превращались в тормозы, барьеры, тупики, конфликты и т. д. В латинском языке есть два обозначения для слова “другой” —

alter (один из двух; отсюда — alter ego) и alius (другой из числа многих). Вот, собственно, мне хотелось бы, чтобы эпоха alter ego сменилась на новую эпоху alius ego; и социологически я пытаюсь это сказать, внести свою контрибуцию, способствуя смене таких эпох. Много других, а не только один другой. Альтернатива, единственная допустимая для меня. Я хочу жить среди большого количества зеркал, радоваться этим изображениям, причем иногда, может, эти зеркала и бить, иногда смотреть, что за ними (кстати, интересно — а что за зеркалом?). Все это можно сформулировать так: одна цивилизация, одна социальная природа, но мультикультурные общества.

— *В одной из своих публикаций вы делаете акцент на таком вопросе: “Какой должна и может стать позиция России начала XXI столетия по отношению к своим советским корням?” С ответом на этот вопрос вы связываете нашу политическую судьбу, культурное выживание и даже сохранность на картах мира. Что вы имеете в виду?*

— Несколько лет я следил за тем, как предпринимались попытки интересных творческих коллективов, людей более-менее молодых (35–40 лет) провести вторичный анализ того, что же все-таки такое сегодня советское наследие. Я был потрясен фиаско этих попыток и помочь им не смог — уж слишком сложной оказалась проблема. Историческое объяснение нашего прошлого, на мой взгляд, однобоко. А социологической теории советского режима вообще нет. Хотя Ханна Арендт по горячим следам написала книгу о тоталитаризме, но сейчас, боюсь, мы много чего потеряли из своего аутентичного опыта тоталитаризма. Речь не о том, чтобы понять, что негативного и что позитивного в этом опыте; в первую очередь важно увидеть весь исторический путь, проделанный СССР за 70–80 лет XX века, который является нормальным путем в социологическом смысле слова. Он, скорее, антропологически противоестествен, но модернизационно — нормален. Мы говорили вначале, что от советского времени остался некий культурный пласт в современном российском общест-

ве. Если это утверждение вырвать из контекста, то тогда получится, что было такое вполне гармоничное советское общество, которое расколосось, как айсберг, перейдя в более или менее теплые воды, — и вот куски льдин все еще плавают повсюду. Как будто бы это и есть советское наследие. Не совсем так, потому что постсоветское время, с моей точки зрения, началось еще в 1950-е годы, а не после перестройки. Это очень сложный и очень длительный процесс, который не имеет своего теоретического понимания по простой причине: мы пытаемся объяснить общество как тоталитарное и потому обращаемся к философской или же к политической проблематизации, противопоставляя демократию тоталитаризму и уже тем самым исключая какую-либо возможность позитивного социального сравнения; либо вообще уходим в сторону, придумываем всякие небылицы о том, что это была отдельная цивилизация (по А.Зиновьеву).

Все это сейчас очень важно. Почему? Возврата к Советскому Союзу уже быть не может (какие бы дѣја ви у нас по этому поводу регулярно не возникали), но мы должны отчетливо понимать, что половина страны будет жить в нормах и ценностях советского времени. Долго будет жить. И чем больше она натурализируется, не вырываясь за пределы своего физического локуса, тем больше эта “советскость” будет костенеть и воспроизводиться вне зависимости от того, хотят того люди или не хотят, желает того власть или нет. Само будет получаться. И это самое страшное. Это означает, что Пайпс, может быть, был прав, говоря о том, что ничего нового при советской власти придумано не было, что все это переокрашенная система управления страной, взятая из царского времени. Если действительно так, мы должны попытаться эти вещи уязвить по-новому.

У нас нет очень важной, на мой взгляд, отрасли социологического знания, посвященной тому, как отжившие культурные формы продолжают существовать в условиях их социальной неподпитываемости.

— *А крупнейшее исследование и одноименная книга — “Простой советский человек”?*

— Да, Левада этим занимался, но опять-таки авторам это уже не интересно, они движутся вперед. И, понимаете, если найти способ уйти от прилагательного “советский”, то в книге все рушится, да и у всех рушится. А это значит, что мы не можем теоретически ответить на вопрос...

— *Что советского было в советском человеке?*

— В современных социологических исследованиях — американских, английских, французских — уберите слово “английский”, и ничего не изменится. Конечно, все имеют свои различия. Знаменитая книга “Дезорганизованный капитализм” как раз показывает, насколько разными путями идет дезорганизация капитализма в Германии, Франции, Англии. Все эти страны реализовали модель национального государства, и эпитет “национальный” как будто бы должен быть к нему крепко привязан. Тем не менее они не нуждаются в этой социологической гипотезе. А мы наоборот: не пройдя путь национального государства, не можем никуда деться от эпитета “советский”, “постсоветский”. Как домоклов меч это висит над всей нашей культурой.

— *Возможно, последний вопрос не совсем по теме, и все же: если сегодня кого-то назвать “человеком идеи” — это хвала или хула?*

— Я вообще боюсь таких слов. “Человек идеи”, на мой взгляд, — это тот, кто навязывает некий свой идеал всем остальным. И этот идеал — экспансионистский. Сейчас, по-моему, человек должен реализовывать идею равенства идеалов. А его нельзя уже назвать “человеком идеи”, потому что это, скорее, задача политическая. Культурная, политическая, религиозная, но никак не социальная.